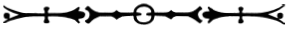
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ



Легкая Рука
На реке Чусовой
Легкая рука

ЛЕГКАЯ РУКА

Часть первая

I. Пристань Быстрая

— Так значит, идем на сплав-то, — говорил приземистый мужчина другому, стоя у маленького прясла своего огорода.

— Идем, — отвечал сосед спрашивавшего.

— Вода высоко поднялась в реке-то, сплывем скоро, денежки в карман и марш домой…

— Не загадывай вперед, как Бог приведет.

— Верно говорю тебе, а то бы я ни в жисть свою не поплыл на караване-то по теперешней поре… Того и гляди белые комары залетают, вода мерзнуть будет. Залезь-ка в нее, сразу околеешь.

— Плавал раньше и теперь сплавешь.

— Плавать точно што плавал, да теперь не такое время, стар стал, пожалуй еще захвораешь на дороге-то, а особливо в ледяной-то воде…

— Так, так, Исачка, старость не радость, не красные дни, сколько тебе годов-то будет?

— Да как тебе не соврать-то бы… ежели еще года два проживу, так пожалуй на четвертый десяток перевалит.

— Заправский старик, — смеялся сосед над Исачкой.

Исачка тоже оскалил ряд белых блестящих зубов, причем два лихо закрученных уса подошли к самым ушам. Разговаривавшие смолкли, Исачка переминался с одной ноги на другую, его что-то мучило, сосед Исачки хладнокровно погрузился в созерцание собственной руки, точно он видел ее всего еще в первый раз.

— Да… гм… я… делишко тут есть, — мялся Исачка, не зная как свалить тяжесть, мучившую его.

— Какое делишко?

— Да я… хотел было… только ты тово… да уж нет, зазря завтра все расскажу по порядку, — заключил Исачка, энергично махнув рукой.

— Завтра, так завтра, по мне все равно, — соглашался сосед, тяжело вздыхая.

— Утро вечера мудренее… а в котором часу караван-то отваливает завтра?

— Да в десятом, надо полагать, отвалит.

— Так ты смотри, не сдыгай от сплаву-то.

— Сказано иду, значит не сдыгаю, потому я своему слову завсегда полный хозяин есть.

Приятели разошлись.

— «О чем это Исачка хотел со мной поговорить, — ломал голову сосед, возвращаясь в свою избу, — а впрочем, черт с ним, надо, так скажет… И впрямь утро вечера мудренее».

Исачка тоже размышлял, только его размышления носили несколько иной характер:

— «Пожалуй ишо заупрямится, черт эдакой, а кабы ум-от его, важнеющее дело бы оборудовали… Чертям бы на том свете тошно было, а уж Исачке так просто хоть и умирать так не надо совсем».

Было уже совсем темно, когда Исачка вошел в свою избушку, для чего ему пришлось наклониться очень низко, так как избушка осела и дверь болталась над самой землей.

— Это ты, Ваня, — спрашивал с печи дребезжавший старушечий голос.

— Я, матушка, — отвечал Исачка, ощупью пробираясь вдоль стены по направлению к печке.

В избушке было темно как в могиле, исключая маленького четвероугольного оконца, полузаклеенного бумагой, чрез которую в избушку смотрела темная осенняя ночь. В избушке пахло сыростью и гнилью, печка стояла нетопленая и старуха лежала на ней только по старой привычке. Исачка долго шарил чего-то около печки, стучал заслонкой и пробовал заползти даже в самую печку.

— Чего тебе, Ваня? — обратила наконец внимание старуха на возню Исачки.

— Да вот, матушка, ищу лучины, нечем осветиться.

— Да на што тебе свету-то, ложись лучше спать… кх… — закашлялась старуха.

— Я, матушка, завтра на сплав иду… караван завтра.

— О-ох! — стонала старуха, — опять сплав!… И зачем ты идешь, добро не бывал никогда… опять и воротишься с пустыми руками… кх… кх… Вот отец-то твой доходил на караване-то… почитай, годов с двадцать как в сырой земле… о-ох, а я-то сколько говаривала ему, бывало… кабы меня слушал, не так бы и было… Не ходи, Ваня, плюнь на сплав-то!

— Нельзя, матушка, подати просят… тебя успокоить хочу на старости лет… сарафан тебе куплю, как ворочусь.

— Не надо мне, Ваня, твово сарафана… стара я, о душе надо заботиться мне, а ты лучше останься да иди на завод, поработай месяца два-три, лучше будет.

— Работал я, матушка, и на заводе, легче нет…

Старуха задумалась, Исачка нашел где-то лучину, зажег ее, и скоро яркий свет осветил всю избушку. Темные прокопченные стены, совсем черный потолок, растрескавшаяся облупившаяся печь в углу, покоробленный стол в другом, грязная лавка вдоль стены, сор и грязь на полу, какая-то пустота и нищета везде, даже в самых дырах, вот на что ярким мигающим пламенем смотрела лучина, горевшая в руках Исачки, который не обращал внимания на обстановку своей избушки, потому что она уже давным-давно примелькалась ему. Исачка отыскал под лавкой какой-то мешок и воткнул лучину в светец.

— О-ох, — ворочалась старуха на печи с одного бока на другой.

— Чего стонешь, мать, аль неможешь, — спрашивал Исачка, привязывая к мешку тоненькую веревку.

— Ничего, Ванюшка, так я… здорова… Вот тут давеча забегала соседка, корочку хлебца принесла мне да простокишки… так она тут говорила… Нехорошо больно, люди-то про тебя, Ванюша, ненавистно говорят… ох, как нехорошо!… Да и на заводе-то ты жил, так и там тоже не хвалят тебя больно. О-ох, Ванюша, нехорошо так-ту, за все придется после отвечать перед Господом, за каждое слово… А соседка-то говорит, што не сносить тебе головы на плечах, уходят тебя… А ты, Ваня, опять на сплав идешь, а на сплав-то известно, что за народ ходит — рвань да голь перекатная…

— Полно тебе, матушка, мало ль што люди здря болтают, а я вот пойду да подать уплачу сполна да тебе, старухе, на сарафан принесу… Тогда и другое заговорят…

— Головушку-то свою, Ваня, береги пуще всего… да о подати заботься, а сарафан, Господь с ним.

— Да ты не отпирайся… сказано принесу, значит принесу. Вот нет ли у тебя перекусить чего ни на есть, я, пожалуй, целый день сегодня не едал.

— Вот корочки есть, так возьми их, да вон простокиши осталось, ее доешь.

Исачка проглотил несколько сухих корок, выпил простокишу, вытер усы, перекрестился и залег на лавку, подложив под голову рваный армяк.

— Утро вечера мудренее, матушка, — говорил Исачка, вздрагивая всем телом от ночного холода, гулявшего на просторе по всей избушке, и закрывая голову армяком.

Пристань Быстрая стоит на правом берегу быстрой реки, которая сбегает по западному склону уральских гор. Быстрая была заложена очень давно, еще во времена крепостного права, когда на месте тепе-

решней пристани в виде наказания силой были поселены несколько раскольничьих семей, провинившихся в чем-то пред своим барином, то есть, собственно, не пред барином (барин безвыездно жил то в Питере, то за границей, там родился, там женился, выстраивал целые дворцы, удивляя всю Европу невиданной роскошью и мотовством, и в конце концов умирал), а пред господской конторой. Пристань Быстрая была заложена в самом глухом месте реки, и первые поселенцы немало страху натерпелись в этой трущобе, но мало-помалу обтерпелись, а потом и совсем привыкли и позабыли, что и когда было, благо все прошло да быльем заросло. Но старики и теперь еще рассказывают своим детям, что плохо когда-то приходилось на Быстрой в избах и от медведя и от волка, а пуще всего от лихого человека. Особенно от последней напасти много терпели старожилы, потому что было их мало, а придут каких-нибудь беглых человек пять-шесть, вся Быстрая и очутится у них в руках, делай что хочешь. Терпели старожилы, много терпели, жаловались барину, но от этого было им не легче, и по-прежнему до царя было далеко, а до Бога высоко. Но мало помалу Быстрая разрослась, народу сделалось много, беглые не смели беспокоить ее, но оставалось еще одно лихо — это заводская контора плыла вместе с волей.

Кругом Быстрой стояли дремучие сибирские леса, в которых не переводились ни птица всякая, ни зверь, в реках было много рыбы, словом, куда ни повернись, везде кусок хлеба сам собой залезал в рот. В силу таких обстоятельств Быстрая и разрослась домов на двести с лишком, а тут и луга порасчистили, пашню разбили, скотом обзавелись. А по веснам с Быстрой вниз по реке отправлялось барок до трех сот, нагружаемых обыкновенно железом, медью, хлебом и пр. В течение летних месяцев барки по реке за мелкой водой не могли идти, зато осенью, когда вода в реке подымалась от дождей, отправлялись еще несколько караванов. На весенний сплав собственного народа на Быстрой не хватало, а потому сюда заблаговременно сходилась с разных сторон разная голытьба да голь перекатная, не знавшая куда приклонить свою голову и пропивавшая последний грош в первом кабаке. Были в этой голытьбе и русские, и татары, и черемисы, и чуваши, и разный другой сброд, не помнящий не только родства, но и места своей родины. Это нашествие иноплеменников было выгодно для Быстрой, потому что все это сборище питалось и пользовалось кровом в ожидании сплава, успевая за это время оставить на Быстрой весь свой задаток, полученный от караванной конторы. Весной Быстрая теряла свой обыкновенный вид, масса серого заплатного люда, галдевшего языках на пяти, толпилась на пристани, осаждая контору предложением рабочих рук и жадно ожидая первого задатка, о котором большая половина собравшихся сотен людей мечтала долгую голодную зиму. Но вот эти мечты осуществились, желанный задаток в руках, но что с ним делать?

Этот оборванный истощенный человек теряется, он не знает, что ему делать с полученным задатком, потому что нужд так много и все они требуют безотлагательного разрешения. И вот, в счастливом случае, два-три рубля идут на уплату подати или для удовлетворения какой-нибудь другой нужды, остается на руках еще один рубль. Куда с ним деться, долго раздумывает получивший задаток и наконец находит место. Несколько часов тяжелого мучительного забытья сильно подкупают забитого надорванного человека, в каком-то исступлении отхватывающего бесшабашного трепака, от которого далеко несется гул по улице, дрожит и гнется кабацкий пол, перезванивают шкалики на полках… Река бурлит и мечется в своих берегах, бросаясь вперед как бешеная, барки дожидаются, когда вода немного спадет, в это время голытьба ловит часы своей свободы и ухлопывает распоследние гроши, развертываясь на все руки. Долго бурлит река, долго бурлит и волнуется на берегу смурое заплатное море, наполняя воздух целой тучей грубейшей ругани, криков и песен. Стоном стон стоит в это время на Быстрой, которая ближе всего походит в это время на чистилище, где мучаются грешные души за какие-то великие грехи. На Быстрой оставляется часто не только весь задаток, но и последний кафтанишко с плеч, несмотря на то, что по реке горами идет лед, на берегу не стаял еще снег, по ночам стоит над рекой жестокий мороз, от которого замерзает вода в маленьких ямках на берегу. Но вот вода сбыла, с пушечными выстрелами отваливают барки от берега, а на них плывет сермяжное царство. Ветер воет в лесу, свинцовыми грядами ползут тучи по небу, крутится и бушует река, а по ней птицами летят вперед на живую нитку сколоченные суденышки. Как двужильные лошади работают бурлаки около тяжелых поносных, взбивая ими громадные валы на реке, пот градом льется по заскорузлым испитым лицам, тут же ветер гонится по реке, догоняет барки, бросается на бурлаков и, как сыщик, пробирается в каждую дыру, под каждую заплату, выгоняя отовсюду последние признаки животной теплоты, согревавшей бурлацкие тела.

Вместе с вешней водой с Быстрой отливает и «чужестранная голь», оставляя в руках пристанские свои задатки. Благодарят Господа пристанские за весенний сплав и живут себе, как у Христа за пазухой.

Но не все живут хорошо на Быстрой, есть у ней своя голь да нищета, провертывается свое горе горькое, в лице какой-нибудь одинокой вдовы, обремененной ребятишками, несчастного случая с большаком в семье, а за последнее время это горе-злосчастье нападало на пристанских чаще всего из узеньких кабацких дверей, откуда выходило оно с залихватской разудалой песней, под звуки гармошки и треньканье балалайки.

Мать Исачки была горемыкой-вдовой, потому что ее муж утонул в реке во время вешнего сплава, оставив на руках у жены шесть человек

детей. Медленными шагами тянулось время, пока дети подрастали, но прошло двадцать лет, пять человек детей умерли, остался один большак, Иван. Это и был Исачка, на котором покоились последние упования и надежды вдовы. Но и этим надеждам не суждено было исполниться, и мать только ослепла от новых слез. Дело в том, что как стал подрастать Исачка, стала мать посылать его на сплав, мальчик шел, пропадал по месяцу и возвращался с двумя рублями в кармане, которые и отдавал матери, но однажды долго ждала мать своего Ваню и не могла дождаться и сочла его утонувшим где-нибудь. Полгода не было ни слуху, ни духу от Исачки, но потом его привезли под конвоем и водворили на место жительства. Горько плакала мать над своим детищем, но детище больше не внимало материнским слезам и думало свою думушку. Пошла ходить на Быстрой плохая молва про Исачку, да и сам он поддерживал ее в сообществе двух таких же отчаянных залетных головушек. Попался сначала Исачка в краже меди с барки, поучили его в волости и отпустили; не прошло двух недель, как забрался Исачка в амбар, потащил оттуда ведерную бутыль с серной кислотой да разбил ее дорогой и весь обжегся. Два месяца лежал Исачка в постели, четыре месяца не мог ходить, но только встал и опять попался в новой пакости, за которую пришлось поплатиться острогом. Громко говорили все, что не выпустят Исачку из острога, заморят там, да и лучше, потому что все одно, ничего хорошего не выйдет из Исачки. Но вышел Исачка из острога и натворил новых чудес на удивленье всей Быстрой, не знавшей как отделаться от своего беспокойного члена. Тревожить Исачку пристанские боялись, потому что неровен час, подшутит так, что своих не узнаешь, а взять с Исачки как с ветра все равно нечего. Так Исачка и жил на Быстрой под названием «Легкой Руки», данным ему товарищами за его ловкость и смелость.

II. Отвал

Рано утром поднялся Исачка на другой день, завернул в котомку рубаху со штанами, простился с матерью и пошел к соседу.

— Готов ли, а я совсем, — кричал Исачка, подходя к избе соседа.

— Сейчас, пообожди маненько, — слышался голос соседа.

Через несколько минут бурлаки направились к конторе. На дороге сосед Исачки делал какие-то таинственные знаки, направленные в сторону новенькой избы.

— Ты это што маячишь? — спрашивал Исачка.

— Да так… тут Савишна мне вечор попалась, тоже собиралась, на сплав. Ну, так я ей махнул, што торопись, мол, а то запоздаешь.

— Так.. — крутил Исачка свой молодецкий черный ус, соображая, в чем дело.

«Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему, — думал про себя Исачка, принимая планы соседа на Савишну, — эту механику мы голыми ногами исходили...»

— А ты мне что вчера хотел сказать-то, — спрашивал сосед, стараясь отвлечь внимание Исачки в другую сторону.

— Вчерась-то я хотел тебе важнеющую штуку сказать, только ты, брат, молчок, а то смотри...

— Да не учи, знаешь, ученого учить — только портить.

— Ну ин пусть будет по твоему, — соглашался Исачка, — а дело, милый человек, в том, што, значит... значит, мы с тобой встанем на барку с медью, а там... где-нибудь на таше* аль за ветром ... одним словом, спустим тюка два меди в воду и делу конец, а назад пойдем продадим. Вот и все дело в том.

— Так, — соображал сосед Исачки, — а ежели мы с этими тюками да попадем, тогда што?

— Да уж не бойсь, не попадем, и не в таковских делах бывали, да и то как с гуся вода... а волка бояться, в лес не ездить!

— Ну, а за тюки кто будет отвечать?

— Известно кто, водолив.

— Ну, это брат, нехорошо.

— Пустяки, потому водоливом Митька, а у него и не столько пропадало. Чего с него-то возьмешь, с го́лова, што со святова, а не пойман — не вор.

— Говоришь ты, Исачка, как по писаному, а все же как будто нехорошо.

— А ты рассуди вот што, милый человек, – увещевал Исачка, — позапрошлый год на осеннем караване был такой случай, у водолива Ваньки Кроухова целых пять тюков стянули. А што с него взять, потаскали, помучили, известно дело, да с тем и отступились.

— Раз на раз не приходит.

— А ты подумай, время терпит. А только вот что рассуди, в двух тюках по шесть штык, за каждую штыку дадут по красненькой, значит, как раз по шестьдесят целковых на брата. Расчет пропьем в городе, што значит получим за сплав-то, да дорогой по красненькой заколем, а домой ровно по полсотни и принесем. Зиму-то и проболтаемся с этими деньгами, а то мало ли, может кому-нибудь на сарафан придется купить, аль на два, а на конторские-то денежки не разживешься лишку, — лукаво подмигивал Исачка своему соседу.

— Так, Исачка, так...

— Сказано так, перетакивать нечего.

— «Теперича, брат, не уйдешь от моих рук, — размышлял Исачка про себя, — знаем мы вашего брата, знаем зачем Савишна на сплав-то идет, а Савишна не таковская баба, чтобы стала с пустокарманниками

* Ташем называется подводный камень.

хороводиться… Шалишь, брат, сам придешь, да ишо в правую ногу Исачке сделаешь, только выручи, сделай милость…»

Бурлаки подошли к караванной конторе, около которой кучками толпился народ. У берега стояли три небольшие барки, две с медью, а одна с железом.

— Запишите нас, Петр Иваныч, — снял Исачка почтительно шапку пред караванным служащим, записывавшим желающих плыть в маленькую книжку.

— Замерзнешь, Исачка, — смеялся Петр Иваныч, делая пометку в своей книжке.

— Соскучился, Петр Иваныч, на пристани жить, охота кости поразмять маненько…

— А может, и дело есть в городке?

— Может и найдется, Петр Иваныч, не вам одним в городе дела-то обделывать…

— Попытай, Исачка, может и вылезет, только я тебе вот что скажу: здесь тебе много с рук сходит, а там не сойдет…

— Много благодарен, Петр Иваныч.

— За что?

— За хороший совет… — снимал шапку Исачка.

— Ему и в городе сойдет, — смеялись бурлаки, — потому у Исачки рука легкая… Ему все нипочем, на одном слове продаст и выкупит.

Задумчивое осеннее утро висит над Быстрой, не шелохнется лес на берегу, а из-за него лениво выглядывает осеннее солнце, которому, видимо, хочется вздремнуть. Спит река, едва переливаясь рябыми струйками в желтых глинистых берегах, спит селенье на берегу, но… чу! По реке прокатился громкий пушечный выстрел… второй, третий… это отваливают барки от берега одна за другой. Вон бурлаки столпились на палубах, около поносных, двумя серыми кучками, вот вода забурлила, запенилась под ударами поносных, а вон бурлаки сняли шапки и молятся на восток. Барка тихо плывет вниз по реке, на берегу галдит пестрая кучка народа, пестреют яркими цветами платки на женских головах, но вот река делает крутой поворот и Быстрая исчезает за высоким глинистым берегом.

— Добрый путь, братцы, — говорит сплавщик, снимая шапку.

— Скатертью дорога, — галдят бурлаки.

Барки по осенней сравнительно невысокой воде были небольших размеров, с двумя палубами, на носу и на корме. Середина такой барки совершенно открыта, здесь обыкновенно устраивается балаган водолива, хозяина судна, отвечающего за целость всего груза. На средине же барки устраивается очаг для огня и иногда балаган для рабочих, которые за его отсутствие размещаются обыкновенно под палубами, куда не достает ни дождь, ни ветер. Барка, на которой плыл Исачка, была нагружена штыковой медью, связанной лыковыми веревками в трехпу-

довые тюки, уложенные тремя длинными поленницами вдоль бортов и посредине барки.

Давно плывет барка в зеленых берегах, бурлаки стоят двумя кучками на палубах. Левый берег реки был ниже правого и покрыт сплошным дремучим лесом, доходившим до самой воды, правый берег был загромождeн непрерывной цепью серых и желто-грязных скал, то высоко поднимавшихся к небу своими вострыми вершинами, то наклонявшихся над самой водой. Серые лишаи и зеленый мох ползли по этим скалам, и только в ущельях и на выступах утесов красовались сосны и березы, крепко ухватившиеся своими корнями за тот клочок земли, на котором им удалось вырасти. Вода в реке двигалась тихо, так что барка подвигалась вниз сама собой.

— С коня долой, — командовал сплавщик, — место здесь тихое, плес, поужинайте пока, а там работы впереди будет.

Бурлаки оставили поносные и направились к большому огню, весело горевшему посреди барки на большом очаге, устроенном из камней и земли.

Пламя костра дрожало и переливалось желтыми и красными языками, обливая столпившихся около огня бурлаков фантастическим ярким светом и рассыпая целые снопы искр. Исачка, согнувшись в три погибели, приставляет горшень к огню, отмахиваясь одной рукой от искр как от комаров, но дым летит вместе с искрами прямо в лицо Исачке, который делает страшные гримасы, прищуривая глаза, подымая кверху то один, то другой угол рта.

— Эй ты, чертов сын, — положил кто-то Исачке железную руку на плечо, — никак у тебя последний-то разум телята отжевали, зачем под ветром-то уселся…

Исачка открыл немного припухшее веко, над ним наклонилась щетинистая голова, принадлежавшая колоссальному телу бурлака Гришки.

— О-го-го! — гоготал Исачка, узнавая своего закадычного приятеля, — и ты плывешь с нами, а я думал, што тебя давно черти задавили….

Щетинистая голова улыбнулась, но это была скорее предсмертная конвульсия повешенного, чем человеческая улыбка.

— Маришка… — ласково рычал Гришка, протянув к огню свои жилистые могучие руки, причем приятная теплота разливалась по телу Гриши и он, как медведь, отворачивал лицо от дыма.

Откуда-то из-под палубы показалась пожилая женщина с красным платком на голове. Какая-то курточка из толстого фабричного сукна болталась на согнутой спине Маришки. Из-под криво надетого платка на голове выбивались несколько прядей черных волос, раскинувшихся по лбу и вдоль щеки. Убитый взгляд больших ввалившихся карих глаз, впалые пожелтевшие щеки, чахлая грудь, тонкие костлявые руки,

— все обличало больное состояние Маришки, но Гришка тянул ее с собой на сплав, руководствуясь только ему одному известными соображениями. Боязливым шагом подошла Маришка к огню и остановилась в приличном расстоянии от своего супруга.

— Маришка, есть! — категорически заявлял Гришка, чувствуя, что за его спиной стоит Маришка, так как она должна была хорошо знать свое место.

— Дай мне горшочка, — говорила Маришка какой-то женщине.

— Самой надо.

— Да мне ненадолго…

— Мы сварим себе варево, тогда бери.

Маришка отошла куда-то в угол, села за тюки и принялась грызть морковь, которую вытащила из кармана. Ветер гнул пламя, оно освещало Маришку, та щурилась, переменяла место, стараясь спрятаться от света. Тусклым безучастным взглядом смотрела Маришка вокруг, она была глубоко равнодушна ко всему окружающему, в глазах не было признака мысли, Маришка казалась живым мертвецом. Из этого состояния выводил Маришку только громкий голос Гришки и только на этот голос отзывалась Маришка, отзывалась бессознательно, совершенно инстинктивно, может быть, по старой привычке, вколоченной еще в пору молодой жизни, когда Маришка была краснощекой девушкой, с большими выразительными карими глазами. Теперь осталась одна тень, нет, пародия на человека, теперь была Маришка и больше ничего.

— Маришка! Черт… — рычал в нетерпении Гришка.

Маришка полезла по тюкам к своему повелителю.

— Есть! — заявлял сурово Гришка.

— Горшка нет…

— Ах, ты, чертова кукла! Ты знаешь только дрыхнуть там… — разразился Гришка, подымая кулак над головой Маришки, — убью…

Поднятой рукой Гришка почесал за ухом, и Маришка была спасена до следующего раза. А у Исачки горшок давно уже пыхтел, пуская пары кверху. Исачка подставлял свой нос к парам и корчил страшную рожу.

— Сладость церковная… — закрывал Исачка глаза под напором приятных ощущений, вытаскивая горшок из огня. — Теперь и поиграть можно.

Рыбаков стоял у поносного и молча смотрел по сторонам, он не подходил к огню. К нему подошел Исачка.

— Пойдем, поиграем малость… — заглядывал Исачка на своего друга.

— У тебя што?

— Пойдем так увидишь…

Исачка привел Рыбакова под палубы, где около Исачкина горшка уже сидели двое, мужчина и женщина.

— Ну, Савишна, невчерашня, давешня, подвигайся… — легонько ущипнул Исачка молодую бабенку с довольно смазливым лицом.

— Ты што, бес, щиплешься-то, — хлопала Савишна полной белой рукой Исачку по плечу.

— А ты смалкивай… сарафан куплю, — подмигивал Исачка.

— Не купи двух зараз, — смеялся мужчина.

— А ты, Степан, баб-то не слушай, а то в одно ухо впусти, а в друго ухо выпусти, — хлопал Исачка по спине Степана.

Савишна, молодая вдова, грудастая и ядреная как репа, плывет на барке со своим «полюбовником», Степаном Рыбаковым, соседом Исачки.

Исачка угощал своих гостей, не забывая себя. Горшок пускал пары, ложки суетились около него, исчезая в широко растворенном рте, только одна Савишна несколько кокетливо подносила ложку и едва растворяла свой рот.

— Спасибо, — говорил Рыбаков, пряча свою ложку в карман.

— Непочем, — отзывался Исачка, продолжая есть.

Наконец, горшок был совсем пустой, Исачка повернул его к свету, помахал и поставил на старое место.

— Все… — с некоторой досадой заметил Исачка, — Бог напитал, никто не видал, а хоть и видели, да не обидели…

Степан ушел, Исачка подвинулся ближе к Савишне.

— Эх, Савишна, Савишна, совсем бы ты славная бабенка была, да вот меня зачем не любишь… — Исачка, оглядываясь, обнял Савишну.

— Полюбила бы я тебя, Исачка, да больно ты плут, говорят… — слабо сопротивлялась Савишна.

— Я-то?

— Да ты самой и есть…

— Не может быть! Тебе кто сказывал, что я плут?

— От людей слышала…

— Ну, люди-то мало ли што наговорят… Вот они и про тебя што говорят…

— Што ищо?

— Да будто я твоим полюбовником причитаюсь… Неправда ведь?

— Плут ты, Исачка… — скалила белые зубы Савишна, дружелюбно толкая своей полной рукой Исачку в плечо.

Исачка зверем смотрит на Савишну, глаза у него разгораются. «А все-таки славная ядреная эта бабешка Савишна, черт бы ее побрал совсем», — раздумывает Исачка, крутя свой длинный черный ус. Степан своим приходом нарушает интимную сцену. Исачка ретируется.

III. В камнях

Славный осенний день стоял над Уралом, вышло солнце на синее небо, побежали белые облачки одно за другим, заплескались утки по речным заводям, зашатался, зашумел зеленый камыш на берегу от набежавшего ветра, но все-таки чувствовалась осень, глубокая, поздняя осень везде. Лист желтел на ветке, вода высоко стояла в реке от осенних дождей, солнце недолго стояло на небе, не посылая больше на землю своих жарких летних лучей.

Река прячется в крутых каменных берегах, только кое-где покрытых как ковром темно-зеленым сибирским лесом. На правом берегу реки высится каменной зубчатой стеной сплошной ряд первозданных скал, то поднимающихся к небу в виде высоких каменных башен, то наклоняющихся над рекой, точно им хочется перешагнуть на другую сторону реки. Тихо стоит вода в реке под таким каменным навесом, чернеет она и переливается стальным блеском как спящий громадный сказочный змей, живущий в каменных пещерах. Тихо плывет барка под скалой, холодом веет от каменной стены, малейший звук отдается здесь, даже слышно, как падают водяные капли в реку из небольшой щели в скале. Но не страшны теперь эти скалы бурлачеству, пусть массы камней висят над самой головой, грозя задавить своей тяжестью каждого смельчака... Не то весной. Весной высоко стоит вода в реке, как бешеная несется она вперед, обливая низкий берег и сокрушая на своем пути все, что попадется ей под руку... Страшно тогда в камнях. Стрелой несутся барки мимо каменных стен, бросает их речная струя прямо на камни, изо всей силы мочи бьется бурлачество, тянут камни к себе на живую нитку сшитые суденышки... Сплошал сплавщик, не взяла сила, барка ударилась о камни и ключом идет ко дну. Много народу тонет каждый год при таких крушениях, а еще больше здесь увечатся на целый век. В память убитых бурлаков на скалах на самом верху стоит ряд простых деревянных крестов, красноречиво свидетельствующих о трагической судьбе погибших здесь бурлаков. Редкий бурлак не перекрестится, проплывая мимо таких памятников и раздумывая, что и над ним, может быть, завтра же поставят такой же крест... если еще поставят, а не просто зароют где-нибудь на берегу.

Но теперь осень, барка тихо-тихо движется под камнями, работы нет, половина бурлаков стоит у поносных, другая половина разбрелась по барке, приискивая себе занятие.

— Э-эх, камешки, камешки... — говорит сплавщик, поглядывая на берег, — много вы нашему брату работы стоите каждую весну. Нынешней весной я тут чуть было и совсем не утонул. Сила не взяла, барка убилась, все вплавь. Плыву и я, а котомку держу в зубах. Только плыву я, а недалеко от меня, смотрю, тонет соседка Марья. Раза три уж она

под воду опускалась, а потом вынырнет, махнет эдак рукой, да опять под воду, только пузырьки по воде пойдут. Утонет баба-то, думаю я, а потом взял пустил котомку по воде, пусть плывет, куда знает, а сам Марью ухватил. Плыву это с ней, больше половины почитай уж проплыли, а она как очувствовалась маненичко, возьми и ухвати меня за ногу. Дура баба, чуть не утопила меня совсем. Я в сапогах плыву да она за ногу держит меня да прямо ко дну тянет, ну, думаю, утопит меня чертова баба, не могу больше плыть. Пришлось раза два-три и мне нырнуть, и Марья со мной под воду, тут ее снова из ума вышибло, а я скорее к берегу. Бог мол с тобой совсем, утопишь ни за копейку. На Марьино счастье, к ней вовремя подоспели в лодке и вытащили.

— А вот Гришка, так тот с барки убившей на камень залез, — рассказывал кто-то из бурлаков, — только дольше-то ему повернуть никуда нельзя, значит ни взад, ни вперед, повис Гришка на камню, а в внизу река. Мы стоим на берегу, смотрим, значит, да добыть его никак не добудешь, потому приступа никакого нет ни с какой стороны. Да на Гришкино счастье нашелся один бойкий парень, подвели мы его на лодке к самому камню, а нас водой так о камень и трескает, ну, думаю, разнесет нашу лодку в щепы. Уцепился наш парень в какую-то трещину, взял веревку в зубы и пополз к Гришке, подал ему веревку, а Гришка по веревке и спустился. Ищо бы, говорит Гришка, маненько, невтерпеж бы держаться было, пальцы, говорит, онемели и того смотри разожмутся.

— Да што тут, братцы, говорить, мало ли тут нашего брата гибнет, — говорили бурлаки, — раздавит как мух и делу конец.

— А вот я помню, третьей весной дело было, шла барка с железом, тысяч тридцать пудов было, так эту самую барку на одном повороте на моих глазах вверх дном перевернуло, так тут за один раз человек тридцать бурлаков потонуло. Вытащили их, положили на берег рядком, бабы ревут как под ножом, кто по муже, кто по брате, а што будешь делать… Божеское произволение, супротив божеского не пойдешь, потому все под Богом, севодни жив, а завтра одному Господу известно.

Барка плывет все дальше и дальше, берега меняются, скалы переходят с одного берега на другой, в некоторых местах появляются признаки человеческого жилья, то стог сена, то изгородь, то небольшой починок в два-три домика, забравшихся куда-нибудь поближе к лесу. Приходилось барке плыть и мимо настоящих деревень, где домов двадцать было разбросано по берегу.

Вон, например, на берегу разошлись домики, точно кто их распугал, это деревушка Лесная. По берегу рядами опрокинуты длинные лодки однодеревки, которые не без основания называют также душегубками, потому что малейшая неосторожность — и пловец в воде. По берегу же на воткнутых в песок кольях сушатся невода, ребятишки ползают в песке, теленок подошел к воде и глупыми глазами смотрит на противоположный

берег, какая-то женщина идет с ведром за водой. Куча бревен и досок навалена в одном месте от разбитой барки, гуси гогочут около берега.

— Кто, ребята, со мной в деревню? — кричит Исачка.

— Я в деревню, — откликается Гришка.

— Меня возьмите, — кричит Савишна, забирая с собой какой-то бурак.

— Мне молока! Мне хлеба! Мне говядины! — кричали бурлаки отплывавшим в деревню.

Исачка садится на корму, и лодка плывет к деревне.

— Вот, пиканники синепупые, — говорит Исачка, загребая сильно веслом и посматривая на берег, — какие они дома себе понастроили…

Лодка ткнулась носом о берег, бурлаки отправились в деревню. Исачка втащил лодку на берег и пошел вслед за другими. У одного дома Савишна торгуется с какой-то бабой, обе горячатся изо всех сил. Исачка подходит к ним.

— Креста на тебе нет видно совсем, — кричала Савишна бабе.

— А што? — просунул Исачка свою голову между спорившими.

— Да вот взяла с меня за десять яиц семь копеек, а они семь-ту копеек в городе стоят, — жаловалась Савишна Исачке.

— Ну и ступай в город за яйцами-то, — равнодушно говорила баба, — я тебя не неволю покупать-то их.

— Хлеб есть? — спрашивал Исачка.

— Есть.

— А ищо што у тебя есть?

— Картошка есть, рыба, лук…

— А рыба какая?

— Свежая.

— Да какая свежая, глупая баба, — горячился Исачка.

— Да всякая: окунь, щука, налим… — равнодушно перебирала баба.

— Ишь ты, а што, Савишна, разе мы купим у бабы рыбки-то?

— Давай купим…

— Ну, давай нам, умница, рыбы… только смотри, штобы была рыба самая хорошая, я худой не беру… Слышишь?

— Слышу, да рыба-то у меня в погребе…

— Ну, так значит и надо вытащить ее оттуда, — объяснял Исачка бабе.

Баба недоверчиво посмотрела на Исачку, но, подумав с минуту, отправилась в двор. В избе никого не было, и Исачка был там через несколько минут полным хозяином. Он вытащил откуда-то ковригу хлеба, набил карманы жареной рыбой, а по пути захватил в карман красный платок.

— Ну, почем же рыба у тебя, — испытующим оком смотрела Савишна на одного большого налима.

— Пятнадцать копеек.

— Ври больше, — смеялась Савишна, — ты, никак, шутишь со мной? А это почем? — спрашивала Савишна, тыкая в какую-то темную рыбину.

Исачка в это время подходил с другой стороны деревни.

— А я уж сходил, накупил кой-чего, – хвалился Исачка, — вот ковригу хлеба купил за семь копеек да жареной рыбы на три… Смотри, сколько рыбы-то дали, — показывал Исачка бабе ее же рыбу. — Ты, поди, такой рыбы сроду и в глаза не видывала…

— У меня тоже есть, только моя-то рыба почище этой будет, — равнодушно рассматривала баба свою рыбу.

— Ах, ты фефела, — смеялся Исачка, — достанет тебя такую рыбу продавать, понюхай, чем пахнет…. — поднес Исачка один экземпляр украденной рыбы к самому носу бабы.

— А ты, Савишна, што тут покупаешь? — спрашивал Исачка, запуская свой вострой глаз в принесенную рыбу.

Началась торговля, после жарких переговоров Савишна покончила на какой-то мелкой рыбешке. Баба отвернулась мерять рыбу небольшой чашкой, Исачка преспокойно спустил пятнадцатикопеечного налима в свой рукав и отправился к лодке.

Все бурлаки помаленьку собирались к лодке. Гришка достал где-то кринку с молоком и торжественно нес ее над головой, пазуха у Гришки сильно отдулась.

— Где это тебе, Гришка, бог молочка-то послал? — любопытствовал Исачка.

— Купил…

— А когда покупал, хозяина в лавке не было? — смеялся Исачка.

— По твоему же… — огрызался Гришка.

— Што по моему? По моему-то дай бог каждому сделать: это видишь?.. — Исачка вытащил из рукава налима.

— А это видал? — и Гришка вытащил из-за пазухи голову живой курицы, растворявшей широко клюв, чтобы крикнуть во все горло, но Гришка сжал ей крепко клюв и курица только шипела в его пальцах.

— Это почище твоего налима будет, — улыбался Гришка, причем его лицо так скорчилось, точно кто-нибудь только сейчас вымазал его горчицей.

— Эдакая ты петля, Гришка, — качал своей головой Исачка.

— Бог послал, — улыбался Гришка, — иду это по дороге, несу молоко, а она через дорогу… Я сейчас кринку на землю, отошел эдак в сторону, а сам тихохонько: цып, цып, цып… Она и подошла, а я ее в пазуху сейчас. Важная штука.

— Молодец, Гришук, — говорил Исачка, — а это, по-твоему, чем пахнет, — хитро улыбался Исачка, растягивая пред Гришкиной рожей украденный красный платок.

— А што? — недоумевал Гришка, рассматривая платок.

— Што… да бог послал. Иду в одну избу, а платок на лавке лежит, я — цып, цып, цып, нейдет, курицын сын, я подошел его да в карман…

— А… — и Гришка улыбнулся.

Савишна ушла от бабы, купив на пять копеек какой-то мелкой рыбы, баба, оставшись одна, долго рассматривала полученные деньги, точно ожидая, что они зашевелятся у ней в руках. Баба сидела у окна и видела, как бурлаки сходились к лодке, а потом отошла от окошка прятать деньги, но, открывши сундук, она не нашла платка, в который обыкновенно прятала свои деньги. Она подошла к залавку, где лежала посуда и хлеб, и принялась искать тут платок, но платка не оказалось, не оказалось также целой ковриги.

— Ой, еретики проклятые! — завопила баба, теряя свое равнодушие. — Ковригу украли… платок мой украли!!.. — Увидев в окно, что бурлаки садятся в лодку, баба бросилась на улицу и побежала к берегу. Исачка, завидев бабу, оттолкнулся от берега. Баба видела, как отчаливала лодка, и в отчаянии развела руками.

— Ах, разбойники..! Ах, еретики! Ах, жиды толстоголовые! — ругалась баба, задыхаясь от злобы.

— Эй, баба, — кричал Исачка, — не ищи платок-то: вот он… — Исачка тряс платком над водой.

— Ах, аспиды проклятые… нехристи… душегубы… каторжники! — металась баба по берегу.

— Го-го-го! — гоготал Исачка на лодке, — экая дурища баба, прозевала платок-то, а муж придет домой, ни в жисть свою не скажет, что про платок-то…

— А знаешь што, Гришук, — ораторствовал Исачка, — мы с тобой так сделаем: моя выпивка, твоя закуска. Я в первом кабаке платок побоку, а ты курицу зажарь… Важнецкая штука выйдет! Так ли я говорю, Гришуха?

— Верно: выпьем, закусим, — соглашался Гришка.

Лодка все дальше и дальше шла от берега, баба безнадежно следила за ее ходом. Гришка сидел за веслом, вот он нагнулся, чтобы сильно ударить своим орудием, пазуха открылась, и курица, воспользовавшись удобной минутой, с раздирающим криком выскочила в лодку.

— Ах, проклятая… — рычал Гришка, бросая весло и направляясь в погоню за курицей.

Курица металась по лодке с отчаянными криками, Гришка бегал за ней, Исачка с Савишной хохотали…

— Ой, батюшки, — голосила баба на берегу, — да не варнаки ли… Курицу-то мою украли… Ой, разбойники… Кар-раул! — надрывалась на берегу бедная баба.

Долго металась курица по лодке, наконец Гришка загнал ее на самый нос лодки. Гришка протянул за ней свою руку, но курица в отчая-

нии полетела к берегу, и пролетев над водой шагов с двадцать, с криком упала в воду. Лодка подплыла к ней, и Гришка торжественно вытащил из воды свою добычу и тут же отвернул ей двумя пальцами голову, точно это был какой-нибудь таракан. Долго смеялись бурлаки над грешной курицей, смеялся и сам Гришка.

— А ведь чуть твоя-то закуска не уплыла, Гришка, — говорил Исачка.

— Настоящие вы разбойники, — качала головой Савишна, — зачем было бабу-то обижать.

— А не зевай, на то Господь глаза дал, — оправдывался Исачка, — на то и пословица есть: не клади плохо, не вводи вора в соблазн. А другая пословица говорит, што не тот вор, кто ворует, а тот вор, кто воровское принимает…

Баба долго смотрела на уплывающую лодку, наконец, махнув рукой, поплелась домой.

— Отпетые души… — соображала баба дорогой.

— А вон и наши купцы плывут, — говорил сплавщик, смотря на лодку, которая выплывала из-за мыса, догоняя уплывшую барку.

— Исачка, наверно, што-нибудь да сшабарчил, — говорили бурлаки, — потому рука у него легкая, не стерпит.

— Чистая беда мне с этим народом, — вздыхал богобоязливый сплавщик.

Лодка причалила к барке, бурлаки окружили ездивших за провизией.

— Ай, Гришка, молодец, целую курицу припер, — дивились бурлаки.

— Да она еще никак совсем тепленькая, он ее должно полагать на седале самом захватил…

— Сказано, купил, — невозмутимо отвечал Гришка.

— Ты, Гришка, смотри у меня, — грозил сплавщик Гришке, — попадешься, сам и отвечай, я за тебя не ответчик.

— Сами ответим, — смотрел в землю Гришка.

— А мы вам сичас такую уху заварим, што твои сибирские купцы, — весело потирал руки Исачка, подавая налима Савишне.

— Воровской али краденой, Исачка, налим-то у тебя? — спрашивал кто-то Исачку.

— Собственной воровской… — невозмутимо отвечал Исачка.

— Легкая у тебя рука, Исачка, — смеялись бурлаки, с завистью поглядывая на налима, которого резала Савишна на части.

— Ты, Исачка, с чертом заодно живешь, — смеялся кто-то.

— Поживи-ка ты с ним, — огрызался Исачка.

Бурлаки теснились около огня, от Исачкина горшка наносило аппетитным запахом свежей ухи. Исачка торжествовал. Вот он свернул из сырой бумаги крючок, набил его самой злейшей крупой, от которой так глаз и воротит, как говорили бурлаки.

— У попа восемь коров, у дьякона девять, — закуривай, ребята, —

весело говорил Исачка, поднося к своему крючку двумя палочками уголек.

Тихо катится река вниз, еще тише по ней плывет барка, бурлаки лежат на палубах, закрываясь рогожками от солнца. Около поносного стоит Рыбаков и смотрит на берег, недалеко от поносного на палубе лежит брюхом кверху отставной солдат. Подходит Исачка.

— Што, Рыбаков, хороша уха? — спрашивает Исачка.

— Ничего, пообедавши можно есть…

— Больно жирно будет…

Исачка помещается рядом с солдатом, стараясь отвернуть свое лицо от солнечных лучей.

— Солдат, а солдат, есть у тебя табак? — спрашивает Исачка.

— Есть, да про себя…

— Ах ты, крупа злосчастная! А ищо говорит, я говорит, в десяти говорит страженьях бывал, одной крупы, говорит, пред страженьями пудов десять съел… — острил Исачка, сладко закрывая глаза.

— А ты молчи, не лайся, собака, — ворчит солдат, поворачиваясь на бок.

— Тебя … сичас уважу, — смеется Исачка.

IV. На таше

Тиха уральская ночь, ясны звезды на синем небе, спит лес на берегу, не плещутся утки по заводям, зеленой волной стоит камыш по окраинам вод. Скоро утро, от реки веет сыростью, густой пеленой начинает закутывать туман прибрежные скалы. Берега плохо видны, пламя костра едва дрожит на барке, дым борется с утренним туманом.

— Надо схватиться, а то как раз на таш угодишь, — говорит сплавщик, напрасно стараясь рассмотреть берег, — эй, ребята, на хватку! Бери снасть!..

Несколько человек берут толстый канат, лежащий на корме барки, и с ним отправляются в лодке на берег. Водолив развивает снасть, т. е. канат.

— Забирай, забирай, молодцы, — кричит сплавщик.

— Наддай ищо, Митьша! — кричит кто-то в лодке.

— Вон за тот пень надо схватиться, — кричит сплавщик, указывая на черную точку на берегу.

Лодка с канатом причалила к берегу, три тени побежали к пню, таща за собой тяжелый канат.

— Крепче петли делай, ребята! — кричит водолив, стоя у огнива.

Огнивом называется тот небольшой крепкий столб, помещающийся на корме и на носу, за который и привязывают канат. Огнивом столб называется оттого, что когда барку останавливают, то от трения каната об столб является обыкновенно дым и огонь.

— Зачаливай! — кричит сплавщик.

На берегу канат надевают петлей на пень, водолив в то же время завивает канат кругом огнива, не упуская другого конца каната из рук. Барка идет скоро, канат сразу натянулся как струна, барка задрожала.

— Трави, Митьша, канат лопнет! — кричат с берегу водоливу, и он потихоньку спускает канат.

Барка рвется вперед, канат хлещет по воде.

— Трави, трави, — кричит лоцман.

Канат развивается на огниве, показался дым и огонь.

— Воды! — кричит водолив.

Исачка обливает водой огниво, дым исчезает, барка дрожит и останавливается.

— Направо нос! Корму держи! — кричит сплавщик.

Барка встала и подошла к самому берегу.

Скоро была брошена сходня с барки на берег, по ней бурлаки потянулись к недалеко стоявшему стогу сена.

— Эко место-то здесь дрянь, — рассуждал Исачка, спускаясь с барки на берег, — главное, деревня далеко, а то бы можно чего-нибудь купить себе.

На берегу скоро запылал большой костер, около которого бурлаки натаскали из стога сена и улеглись спать вповалку.

Чернеет лес, чернеет река, еле-еле покачивается барка на реке, вода тихо журчит около бортов. Густые прибрежные кусты подошли к самой воде и свесили над ней свои зеленые ветви. Сыро и холодно на реке, в кустах что-то шелестит, это Савишна из лесу пробирается к барке.

— Савишна…

Савишна вздрогнула, от нее в двух шагах стоял Исачка.

— Как ты меня испугал, черт ты эдакой, — журила Савишна Исачку.

— Уж и испугал… — и Исачка протянул свои руки к Савишне.

— Уйди, грех!!.. — защищалась Савишна, отмахиваясь обеими руками от Исачкиных объятий.

— Не кричи, услышат, — шептал Исачка, кивая головой в сторону барки.

— Пусть услышат, тебе и попадет в шею, — ухмылялась Савишна.

Исачка отступил несколько, но через минуту он занял снова свою прежнюю позицию.

— Не лезь, говорю тебе…

— А хошь, Савишна, я тебе цалковый подарю… — приступал Исачка без лишних обиняков прямо к делу.

— Цалковый?!. Да ты денег таких сроду еще не видывал.

— А это чем пахнет? — и Исачка поднес к самому лицу Савишны измятую рублевую бумажку.

— И впрямь целковый… — удивлялась Савишна.

— Хошь я тебе его подарю?

— Подари, — улыбнулась лукаво Савишна.

— Держи.

Савишна взяла деньги и все еще не решалась положить их в карман.

— Ты шутишь, Исачка?

— Экая ты дура, Савишна, сказано, бери.

— А как он узнает, — многозначительно кивнув головой в сторону барки.

— Никто ничего не узнает, — уверял Исачка.

«Как тут быть», — раздумывала Савишна, не выпуская бумажки из рук. И хотелось Савишне взять деньги и вместе не хотелось, а Исачка как бес какой, стоит и глазищами своими бесстыжими на нее уставился. «Возьму», — думала Савишна, — «не бери», — шептал ей какой-то внутренний голос.

— Бери, чего ты смотришь-то, — нетерпеливо говорил Исачка.

Савишна спрятала деньги в карман.

— Эк ее черти унесли, штоб ей сдохнуть!!.. — ворчал сквозь зубы Рыбаков, слоняясь в ожидании Савишны по барке.

— Ты что тут бормочешь, — спрашивал Исачка, возвращаясь с берега на барку.

— Да вот потерял горшок, не могу его найти… — и Рыбаков сердито швырнул в сторону попавшееся под руки полено.

Через четверть часа Исачка сидел рядом с Рыбаковым около огня, около которого стоял небольшой котелок с картофелем. Оба курили, изредка перебрасываясь между собой отдельными фразами.

— Эко эти бабы, — вслух размышлял Исачка, сплевывая на огонь, — што только они с нашим братом делают…

— А што они с тобой сделали? — спрашивал Рыбаков.

— Да со мной-то пока, Бог милостив, ничего не сделали, а вот с другими…

Савишна шла по сходне с берега на барку, она была бледнее обыкновенного, но ночью это было мало заметно. Увидев Исачку, мирно беседовавшего с Рыбаковым, Савишна невольно остановилась, но постояв с минуту и собравшись с духом, она подошла к огню.

— Ты где это шаталась, — спрашивал грубо Рыбаков.

— А была там, где меня нет теперь…

— Так ты вот как с нами нынче поговариваешь… — вскипел Рыбаков, и звонкая пощечина закрасила левую щеку Савишны. Бледная как полотно, стояла Савишна около огня, проглотив слезы и сдерживая всю злость, какая кипела у ней теперь в груди.

— Я тебя научу, как на свете жить, — скрипел зубами Рыбаков, — ты у меня будешь по одной половичке ходить…

Савишна молчала, Исачка смотрел на огонь, точно среди пылавших дров сидел по меньшей мере его родной отец.

Черной тучей легла на душу Савишны полученная ей пощечина, невеселые мысли бродили у Савишны в голове.

— «Варнаки эти мужики, — раздумывала про себя Савишна, — настоящие еретики, только нашего брата обманывают… Наговорят с три короба: и такая ты и сякая ты, а как чуть связалась с кем, сейчас и норовят в зубы…»

Как хотелось Савишне отомстить за полученное оскорбление, но отомстить сейчас было нечем и она оставила ее до более удобного случая.

Мягкая осенняя ночь спустилась над рекой, в темноте не видно берега, на небе в страшной глубине горят звезды. Ветер и то веет на досуге, облизывая голые сучья обнаженных осенью деревьев. На барке все спят, спят и на берегу. Около большого стога сена мелькает какая-то желтая фигура, осторожно обходящая кругом стога.

— Это ты? — слышится шепот Исачки, по уши спрятавшегося в сено стога.

— Я… — тоже шепотом старается ответить Гришка, но вместо шепота из его горла вырывается какое-то хрипение.

— Ты совсем?

— Совсем.

— И веревка и ножик есть?

— Есть.

— Ну так идем скорее, а то скоро будет утро, пожалуй, не успеем.

Бурлаки поспешной походкой направились вдоль берега, оставив барку далеко позади.

— А ты хорошо заприметил их? — спрашивал Исачка своего спутника.

— Сказано, хорошо, своим глазом видел…

— А ты бы их взял в зубы да так и разглядывал, виднее.

Дальше идут бурлаки, впереди что-то чернеется.

— Это деревушка, — бурчит Гришка, — ее надо миновать, а то тут собак много, залают…

— Пусть лают, невелика беда, скажут, што волки подходили, нам это на руку. Далеко ищо?

— А вот обогнем деревеньку-то, тут на пригорочке и будет.

Обогнули бурлаки деревню, вот и пригорок.

— Здесь тише, — командовал Гришка, — видишь там, на месте, они самые и есть…

— Вижу, вижу, — изощрял свое зрение Исачка, разглядывая впереди ряд черных точек, пестривших пригорок.

— Теперь надо ползти на брюхе, а то испугаются да еще убегут, — говорил Исачка, становясь на колени и начиная ползти к пригорку.

На пригорке, к которому ползли бурлаки, расположилось на ночь стадо овец. Как ни полз Исачка, но его приближение уже было замечено, и несколько овец, подняв высоко головы, громко блеяли.

— Бариньки… бариньки!.. — подползал Исачка на овец, протянув одну руку вперед, как обыкновенно манят овец.

Передние овцы стада вскочили на ноги и, отбежав несколько шагов в сторону, остановились как вкопанные, с любопытством глядя на Исачку.

— Бариньки… масиньки! — продолжал продвигаться вперед Исачка и одним прыжком очутился около одной жирной овцы, в которую вцепился обеими руками, как коршун.

— Гришка… сюда, вяжи… — шептал Исачка, налегая грудью на пойманную овцу, жалобно блеявшую в его руках и судорожно дрыгавшую ногами.

Гришка был тут как тут, длинной веревкой он связал овцу, ей же запутал морду, чтобы не блеяла дорогой, и, взвалив на плечи как хороший волк, трусцой потащил овцу к барке. Исачка бежал вприпрыжку за Гришкой, стадо овец разбежалось во все стороны. Миновав деревню, бурлаки очутились на берегу реки, недалеко от барки.

— Давай приколем здесь, — говорил Исачка.

— Давай, устал тащить ее, окаянную, — сбросил Гришка на песок свою ношу.

В три минуты Исачка приколол бедную овцу.

— Надо голову отрезать прочь и ноги тоже, — говорил Исачка, поспешно свежуя овцу, — да и шкуру тоже, а то ищо сплавщик привяжется.

Гришка согласился, а Исачка, наскоро содрав шкуру овцы, завернул в нее голову и ноги и несколько тяжелых камней и все это завязав веревкой бросил при помощи Гришки в воду.

— Ну, теперь как мы на барку проберемся? — раздумывал Гришка.

— Ох, ты, голова с мозгами, нашел о чем думать, да просто-напросто разрежем овцу пополам да пронесем каждый по половинке.

— Да видно будет, как пол-овцы-то попрешь на барку.

— А ты в два раза снеси. Возьми свою-то половину да перережь ищо на две части, а потом в два раза и перенеси. А штобы Митька или сплавщик ничего не заметили, заверни в халат. И я так же сделаю.

Действительно, по рецепту Исачки овца очутилась на барке, а потом под баркой, куда Исачка спрятал ее с двумя кулями, во-первых, чтобы в воде она дольше сохранилась, а во-вторых, чтобы на случай обыска со стороны сплавщика или водолива все дело было шито и крыто.

— И овцы будут целы и волки сыты, — говорил Исачка Гришке, лукаво подмигивая на водолива.

Тиха уральская ночь, но звезды на небе начинают бледнеть, туман тихо поднимается над рекой, скоро будет утро.

Рано утром барка отвалила от берега и поплыла вниз. Берега были уставлены с обеих сторон высокими скалами, которые сильно стесняли реку, отчего вода сильно бурлила и быстро неслась вперед. Из воды кой-где выскакивают черные валы с белыми гребнями.

— Скоро Тесовой, братцы, — говорил сплавщик, — постарайтесь здесь. Только бы здесь пройти, а там уж все пойдет как по маслу.

— Постараемся, — галдели бурлаки.

Река неслась, барка гнулась и трещала, кругом нее, как стадо белых овец, бежали друг за другом валы. Кой-где из-под воды выставлялись черные, обросшие мохом камни, так называемые «таши», около которых вода кружилась и неслась с особенной силой. Трудность прохода в Тесовом заключается в том, что в самом быстром месте реки нужно пройти по косому направлению. Бурлаки молча стояли у поносных, речная струя подхватила барку и быстро понесла ее вперед.

— Направо бей! Корму держи!!. — кричал сплавщик, беспокойно посматривая на бурлившую реку.

— Нос налево! Нос налево!!. — барку несло по косому направлению, но снесло несколько ниже, и барка на самой средине реки ударилась дном о подводный камень и сразу остановилась.

— Отуривайся, ребята! — кричал сплавщик, но сколько ни повертывали барку, она не двигалась вперед, потому что вертелась на камне, как магнитная стрелка.

— Ну, делать нечего, сели на таш, — тряхнул головой сплавщик.

— Сила не взяла, — отвечали бурлаки.

— В воду, братцы, надо, делать нечего, — говорил сплавщик бурлакам.

— Ах ты, чертов голова, угораздило тебя, — ругался Исачка, которому сильно не хотелось спускаться в воду.

— Спускайся скорее, да подберись с кормы, — командовал сплавщик.

Десятка полтора бурлаков спустились в воду со стягами в руках. Место было глубокое, так что бурлакам приходилась вода чуть не по горло.

— Ты, Исачка, рыбу лови теперь, — кричал Гришка.

— Нет, я буду смотреть, а ты лови, — кричал в ответ Исачка.

— Затягивай, ребята, дубинушку, — командовал сплавщик.

Шла старуха с тово свету,
Половины ума нету…

Звонким голосом затянул молодой бурлак Петька, выделывая какие-то замысловатые ноты.

Ой, дубинушка, ухнем!
Раззеленая, сама пойдет!
Подернем! Подернем! Подернем!

– подхватили дубинушку голосов двадцать, и громкое эхо далеко раскатилось по реке, замирая где-нибудь в лесу или отражаясь от прибрежных скал.

— Навались, ребятушки! — кричал сплавщик, перебегая с одного края барки на другой.

Часа два простояли бурлаки чуть не по горло в воде, перемерзли, устали, а барка все не двигается дальше. Сплавщик задумался.

— Придется, видно, выгружать на берег, — соображал Исачка в воде, подмигивая Рыбакову.

Еще проработали бурлаки два часа, барка все не двигалась, а солнце стало уже садиться.

— Переночуем на ташу, а за ночь, может, вода прибудет, — соображал сплавщик.

— Ну, пусть будет по-твоему, а не по-нашему, — смеялся Исачка, вылезая из воды.

Всю ночь на барке горел громадный костер, около которого толпились бурлаки, сушившие перемокшее в воде белье.

— Вот бы баб засадить в воду-то, так узнали бы они, какая такая есть на свете кузькина мать, — соображал Исачка, метаясь около огня как угорелый.

Водолив сидел на палубе и зорко смотрел кругом, опасаясь, чтобы кто-нибудь из бурлаков не спустил штыку меди в воду. Исачка давно посматривал на водолива, что-то соображая про себя.

— Ты, Митьша, — обратился Исачка к водоливу, — брось караулить-то. От домашнего вора, говорят, не убережешься.

— А ты, Исачка, чем говорить-то попусту, сделай лучше так, возьми да наймись водоливом да и спи целый караван, а там задарма и расчет получишь.

— Так и сделаю, — хвастал Исачка, — верно тебе говорю.

Исачка подошел к Рыбакову, что-то шепнул ему на ухо и снова пошел на палубу к водоливу.

— Ты, Митьша, трус большой, вот што я тебе скажу, — усаживался Исачка рядом с водоливом.

— Што из това, што ты смелее, што в твоей смелости-то?

— А вот смотри, што я за человек, — говорил Исачка, направляясь к корме, — хошь, я по перу пройду…

Пером называется толстая доска, которая заменяет у поносного расширенный конец весла. Когда работают поносным, то главная сила заключается в пере, которым загребают воду. В обыкновенном положении пройти по перу, обращенному вверх кромкой, крайне трудно, тем более, что ночью доски на воде отсыревают и покрываются водяными каплями.

— Куда тебе, ты ищо хлеба мало едал, — подзадоривал водолив Исачку.

— Смотри… — и Исачка пошел по поносному, а затем по перу, которое гнулось и качалось под его ногами.

Дойдя до конца доски, Исачка повернул назад.

— Теперь смотри, — крикнул Исачка водоливу, становясь на одну ногу на самый конец доски.

В то время, как водолив сосредоточил все свое внимание на Исачке, последний сильно вспрыгнул, как будто теряя равновесие. В это же время что-то большое булькнуло у правого борта, где стоял Рыбаков.

— Што это там? — спрашивал водолив Рыбакова.

— А черт его знает кто: водяной, либо щука, — спокойно ответил Рыбаков.

Исачка был уже около огня.

— Ну, эта щука не уйдет от моих рук, — хвалился Исачка, — пойду назад, куплю уду и эту самую щуку беспременно поймаю, надо полагать.

— А ежели заместо щуки лешак тебе сядет на уду-то, — соображал Гришка.

— Сам ты, Гришка, лешак настоящий и есть, — отвечал Исачка, — а ежели не лешак, так его ближний свойственник.

— А што, Митьша, ловко я по перу-то, — спрашивал Исачка водолива.

— Художник, што говорить, — улыбался Митьша, — у тебя што доброе так и рука поди не подымется совсем, а на шальбу да на пакость и хлебом не корми.

— Всяко бывает, раз на раз не приходится.

— Ну, а твои-то разы все на один манер.

— Вот и соврал. Ты думашь, я такая простота и есть, нет, брат, тоже и нашего брата не надуешь скоро-то.

— Да уж, известный человек, што тут говорить, — соглашался водолив.

Ночь прошла, а вода в реке не прибывала. Утром бурлакам опять пришлось спускаться в воду. Вплоть до обеда работали они под баркой, но она не двигалась.

— Одно средство есть, живо бы сошла барка, — лукаво подмигивал Исачка сплавщику.

— Знаю я, друг, это средство и без тебя, да не по карману оно.

Время шло, барка не трогалась с места.

— Ах ты, бес тебя подстрели, — говорил сплавщик, почесывая свой затылок, — придется раскошеливаться… Эй, братцы, уговор дороже денег! Согласны: снять барку, а там полведра водки.

— Согласны, все согласны, — кричали бурлаки, — только водку наперед, все перезябли.

— Нет, братцы, сначала барку, а потом водку, — кричал сплавщик.

— Сначала водку, а потом барку, — галдели бурлаки.

— Ну, ешь вас мухи с комарами, пусть будет по-вашему, только барку, штобы духом сдвинуть.

Скоро на палубе явилось полведра водки и бурлаки начали подходить к ней по очереди.

— Ну и пасть только у этого Гришки, — удивлялись бурлаки, — барка пройдет.

Через час барка была снята и поплыла вниз.

— Вечор надо было вам водки-то, еретикам, дать, давно бы плыли — ворчал сплавщик.

— Еще бы, одно выпьешь, а другое — в сухую, — рассуждал Исачка.

— Скоро из камней выбежим, — говорил сплавщик, — там не в пример слободнее будет плыть-то.

— Прощай, камешки! — кричал Исачка, — тепереча мы прямо к синепупым пиканникам в гости. Только вот разе кедрик нас попридержит малость…

— Ох уж этот мне кедрик, хуже всякого перебора, — ворчал сплавщик.

— Вот он где у меня сидит, — указывал сплавщик себе на шею.

— Што будешь делать, — говорили бурлаки, — тянет этот кедрик хуже всякого камня, ни одна барка не проходит мимо…

— А штоб этому кедрику пусто было, — ворчал сплавщик.

— Отдохнем, — лукаво щурил глаз Исачка, — а то у меня все кости в Тесовом-то размокли да и в голове как будто не тово… не ладно.

— У тебя давно в голове неладно, — смеялись сплавщики над Исачкой.

V. Кедрик

Село Камасино стоит на самом берегу реки, в том месте, где последняя выбегает из гор и прокладывает дальнейший путь среди полей и лугов. За деревянными домишками виднеется деревенская церковь, а на берегу у самой почти воды стоит небольшой сибирский кедрик, за который обыкновенной хватаются барки. В двух шагах от кедрика стоит кабак, заветная цель всего бурлачества.

— Ай, кедрик, разлюбезный ты наш друг! — кричал издалека Исачка. — Вишь стоит, родимой наш, на самом бережку, пожалуйте дескать ребята ко мне, милости просим, добрые люди…

— А што у этова кедрика по веснам бывает, — говорит кто-то из бурлаков, — страсти Господни! Схватаются у кедрика барок десять сразу, народу видимо-невидимо и все в кабак... Драка стоит какая из-за этой самой водки!!. Оди́нова в этой самой драке сразу троих убили, ну и было тут после суда над нами, да только прикащик у нас догадлив был, подмазал колеса становому-то, ну и написали в бумаге там, што нашли так и так три мертвых тела неизвестных людей, выброшенных рекой на берег. Так это дело и прошло, а то, говорят, тут бы нас и совсем засудили.

Через четверть часа барка стояла под кедриком.

— С коня долой! — командовал сплавщик.

Бурлаки сняли шапки и молились на церковь.

— Спасибо вам, братцы, — благодарил сплавщик, — а теперь и на берег можно, только чтобы не расходиться, да не напиваться, а то оставлю на берегу и делу конец, да чтобы этого безобразия, драки не было. Пить пей да дело разумей, честь свою не позабывай.

— Знамо дело, не подгадим, — лукаво прищуривал Исачка один глаз, — а только все-таки человек не камень, другой раз и испить водчонки захочет.

– Известно, не камень, — галдели бурлаки.

Вприпрыжку летели бурлаки в кабак, а впереди всех, как предводитель, бежал Исачка.

— В-водки! — ураганом ворвался Исачка в кабак.

Налитый стакан уже ожидал Исачку, и он с ним встречал бурлаков, стремившихся в кабак.

— Милости просим, господа, будьте у себя как дома, — раскланивался Исачка с бурлаками.

Исачка опрокинул стакан над своим горлом, в котором водка както странно заклокотала. Исачка крякнул и поцеловал дно стакана.

— Всяк выпьет, да не всяк крякнет, — крутил Исачка свой ус, закусывая соленым огурцом.

— Пей, ребята, душа мера, — кричал кто-то.

Што ребята пропотели,
Али выпить захотели,

– пел где-то в углу Петька. Человек пять ему помогали.

Исачка угощал водкой Рыбакова.

— Ну, брат, и ты молодец, нечего сказать, охулки на руки не положил, бровью не повел, — говорил Исачка Рыбакову.

— Это што, пустяки… — улыбался Рыбаков.

— Ну и я-то ловко этого дурака Митьшу-то провел. Залез это я на перо, а он шары-то и вытаращил на меня, а ты и воздействовал с тюками-то… Щука, говорит… Ха-ха-ха! Я чуть было не покатился со смеху.

— А как стали барку-то снимать с таша, — говорил Рыбаков, — я выщупал ногами, в котором месте оба тюка-то лежат, и это самое место заприметил крепко-накрепко, штобы после не забыть.

— Ловко сварганили делишко, будет ребятишкам на молочишко, — смеялся Исачка.

К разговаривавшим подошла Савишна.

— А кума, кумушка, хочешь сладенькой? — таял Исачка.

— Угости.

Все трое выпили.

— Эх, не весь голову, не печалуй хозяина, — трепал Исачка Савишну по спине. — Выпьешь, так все равно, што теплую шубу наденешь. Во как!

Шум стоял в кабаке, в удушливой кабацкой атмосфере повисли крики и ругательства, слышались чьи-то причитания, кто-то обнимался около стойки, в углу целовались. Грязь на полу, грязь по стенам, грязь на стойке, винные испарения в воздухе, дикие возгласы, пьяная песня, топот трепака, — все это слилось в один невообразимый кромешный ад, среди которого как тени нездешнего мира бродила пьяная ватага отпетых душ, этих отщепенцев общества, его подонков.

Эх, вы послушайте, ребята,
Што струна-те говорит…

— напевал кто-то, подыгрывая на балалайке.

— Вот оно, гр-рош дано да попахивает, — выделывал Исачка замысловатые па пред Савишной и затем умильно просил ее спеть...

— Ах, и я-а млада-а… — затягивала Савишна тонким голосом.

— Верно — кричал Исачка, — во пиру была…

— Ха-ха-ха! — заливалась Савишна дробным смехом.

— Хо-хо-хо! — гоготал Исачка, украдкой обнимая Савишну ….

— Эх, я не мед п-пила, — сладко закатывала свои глаза Савишна.

— Го-го-го! — гоготал Исачка, пускаясь в пляс.

— А-х… да сладку водочку, — взвизгивала Савишна.

— Важно, Савишна, — кричат бурлаки.

— Танюшка, ты моя голубушка, — обнимает Петька какую-то девушку.

— Отцепись ты от меня, зелены твои шары…

— Да скажи ты мне прямо: люб я тебе, аль не люб?

— Хуже Ирода…

— А-ах, ешь тебя муха… — крутит головой Петька. — Я с тобой все равно, што отец с дочерью хочу поговорить, а она вона куда.

— Ишь ты, больно слизкой, — улыбается девушка, стараясь пухлой белой рукой ударить Петьку прямо по роже.

— Мар-р-ришка… — рычит где-то Гришка.

— Ишь ево, как насосался, лешак, — удивляется кто-то над Гришкой.

— Ласочка моя белогрудая, изюминка, — змеем извивается Петька пред своей дульцинеей.

— Чево ты, Петька, вертишься тут как маланья какая, — скалит зубы девушка.

— Эх, люба моя, зазнобушка… — и Петька обнимает девушку.

— Ах ты, надоед проклятой, — отбивалась девушка, — несытые твои шары, Петька… Куда руками-то лезешь, жид голенастой?!

— А ты, Петька, што тут распустил больно перья-то? — спрашивал Исачка, пошатываясь на ногах.

— А ты проходи своей дорогой, — загорелся Петька, — а то такого земляка поднесу, што все зубы в карман положишь…

— Над землей-то ты, Петька, ищо больно невелик, разе под землей-то тебя много осталось…

— А вот я тебе звездану, так узнаешь, сколь меня под землей-то, — храбрится Петька.

— Ой, Петька, не хорохорься заморским-то петухом, больно ищо невелик ты в перьях-то…

— Слышь, не раздражай меня… а то, истинный Христос, засвечу тебе.

— Я без очков-то плохо нынче слышу…

— Засвечу!… потому у тебя ума-то вплоть до сегодняшнего дня не бывало, а сегодня и совсем не стало.

— У тебя, молокосос, буду уму-то учиться.

— Одначе здорово здесь народу-то понаперло, — входил сплавщик в кабак, — а вы што тут расходились! Што за шум, а драки нет. Ты, Петька, дождешь, что тебя подкуют хорошенько… Слышал?

Петька, как медвежонок, с ворчанием отошел в сторону.

— Вот тебе… — показывал Петька кулак Исачке.

— Оботри молоко-то на губах сперва, — огрызался Исачка.

— Мар-р-р-… — бормочет Гришка, падая средь полу.

— Держись, Гриша, крепче за землю, — кричит Исачка.

— Носом-то, Гришка, в пол крепче завинчивай, а то потому взлетишь кверху, — смеются бурлаки.

— И все-то пьяные, все пьянешеньки, лыка не вяжут, — качал головой сплавщик.

— Ишь… водолаз… пустыш одно слово…

— По носу видно, што …

— Эй, ты, не балуй, коли бог ума не дал… — кричали вместе несколько голосов.

— А хошь я тебе сделаю кажную штучку отдельно, — предлагал Исачка Рыбакову.

— Сделай лошадь, подкуй малость, — заплетавшимся языком едва выговаривал Рыбаков.

— Смотряй, еретицкая голова! — Исачка выпил водку, а рюмку взял в рот и разжевал, выплюнув на пол осколки стекла.

— Молодец! Чистенько, Исачка, — улыбался сплавщик.

— Я и то говорю вон Рыбакову, штобы днем и ночью учился у меня, пока я, значит, жив еще, — закрывал глаза Исачка от удовольствия.

Большая половина бурлаков нагрузилась по горло и находилась в состоянии полной невменяемости. Люди, как отравленныя мухи, корячились и ползали по всем направлениям, только человек пять сохраняли некоторые признаки присутствия духа. Двое бурлаков старались привести Гришку в чувство, для чего вдували ему воздух в нос, терли уши, но Гришка лежал безглаголен и недвижим. Исачка с Рыбаковым едва шевелили языком, не теряя надежды попасть непременно на барку: для большей устойчивости они взаимно поддерживали один другого, но и от этого не было им легче.

— Ишь как, соколы, натянулись, — качала головой Савишна, провожавшая своих возлюбленных.

— Друг я тебе, али нет? — спрашивал Исачка Рыбакова, поднимаясь с земли.

— Плут ты, Исачка, — бормотал Рыбаков.

— А ты одно помни: щуку… — Исачка хотел сделать довольно энергичный жест рукой и полетел на землю вместе с Рыбаковым.

— Экой ты, братец, как ты напился, меня уронил, — рассуждал Исачка, стараясь подняться на ноги, но все усилия его оставались совершенно напрасными.

— Ах, как еретики назюзюкались, — вздыхала Савишна.

— Сав-вишна!… Савв… — мычал Рыбаков, простирая руки куда-то в пространство.

В кабаке кто-то затянул проголосную заунывную песню.

Эх, да не былиночка во чистом поле зашаталася,
Зашаталась бесприютная головушка,
Што на чужой дальней сторонушке…

— тянул один голос, трое ему помогали. Полилась заунывная русская песня среди пьяного моря, полетели звуки между диких криков и стона, между смеха и слез, между руганью и бессвязным бормотаньем. Как малые дети расходились родные звуки, ласкались и плакали над бурлачеством, обнимали пьяных как братья, обходили далеко веселых и доходили до самого сердца ко всем этим отпетым душам, бесприютным головушкам, зашатавшимся на чужой дальней сторонушке.

Мне не жаль кудрей, да жаль головушки,
Жаль головушки, родной сторонушки…

— тянул голос.

Ныло, горело бурлацкое сердце от этих песен, в которых подымалась и живьем вставала бездольная, безрадостная, отчаянная жизнь отпетой души. Кабаком да стойкой, руганью да дракой отзывалась эта серая тяжелая жизнь, безвременно сушившая человека, сгоняя его в сырую могилу… Вот о чем плачет и стонет песня, вот отчего так любит эту песню отпетая душа.

Как зачумленные бродили бурлаки по берегу; напрасно они водили осовелыми глазами по всем направлениям, в глазах не было света… Напрасно трясли бурлаки отяжелевшими головами, что-то тяжелое, как камень, засело в эти буйные головы. Напрасно отпетые души горели непреодолимым желанием двинуться по какому-нибудь направлению, все части бурлацкого тела падали в полную отставку. Смутно было на душе у бурлачества, потому что там сидел сам черт…

— Пора на барку, братцы! — кричал сплавщик, тоже подгулявший.

— Сию минуту… — отвечало несколько голосов, принадлежавших бурлацким телам, распростертым в прахе на кабацком полу.

— Эй, вы, пьяницы! Вставайте! — кричал Исачка, появляясь снова в кабаке.

— Ах ты, чертов сын, ты опять здесь! — удивлялся сплавщик Исачке.

— Башка трещит… страсть! — тряс усиленно головой Исачка. — Надо поправиться…

— Мотри, брат, на другой бок не поправься.

— Не подга-адим… вер-рно тебе говорю! Только вот чуточку горло промочить, а то хоть помирай… Э-эх! Жисть наша тяжелая… Бррр… — крутил головой Исачка.

Кучками и порознь тащились бурлаки на барку по берегу. Идет, идет человек и покачнется, как трость, колеблемая ветром в пустыне.

— Эк их натрескались! — удивлялся Петька, стоя в дверях кабака.

— А што… я… я… да ты… Мар-ришка! — и Гришка кубарем покатился в воду со сходни.

— Освежись, малой, хучь маненько, — смеялась Савишна на барке.

— И освежусь… — бурчал Гришка, подымаясь из воды и натягивая на голову мокрую фуражку.

— Ах, ты, Гришка, Гришка, и переменить-то у тебя нечего, — соболезновала Савишна над Гришкой.

— Вода не сало, высохла — отстала, — говорил какой-то бурлак.

— Гришка-то прокурор, — вставил свое слово Исачка, — он недаром в воду-то шарахнул. Наверно, за рыбой погнался?

— Знамо за рыбой…

— А если бы умной-то башкой да о камень Гришка изгодил? Тогда как?

— О камень больно… — улыбался Гришка, а с самого вода лилась рекой.

Петька один оставался в кабаке и не хотел идти на барку.

— Приведите его беспременно! — приказывал сплавщик.

Трое бурлаков подошли к Петьке.

— Не тронь!!. — кричал Петька, упираясь обеими руками в кабацкую стену.

— А мы вот тебе намнем хорошенько лень-то, так не будешь смутьянить-то.

— Не подходи… убью!!.

— С комарами, Петька, повоюй наперво!

— К черту!!.

— Ах ты, курицын сын… — и шесть могучих рук вцепились в Петьку, он отбивался от них всеми силами, но трое одолевали одного, и Петька благополучно был доставлен на барку, где был связан и положен на рогожку.

— Дьяв-вола… — хрипел Петька, наливаясь кровью как жареный рак.

Бурлаки собрались на барку, но Исачки с Гришкой между ними не оказалось.

— Отваливай, ребята, — командовал сплавщик, — пусть их, черти эдакие, по берегу отжарят за баркой-то верст пятнадцать, так вперед будут знать.

Барка отвалила.

— Ну, теперь они полопочут пешком по берегу за баркой-то, — рассуждали на барке бурлаки.

— Да ведь оба они плуты естественные, какую-нибудь штуку выкинут, — сомневались другие.

— Окромя того, што за баркой пешедралом — ничего не выкинешь.

— Эти не пропадут.

Действительно, через час показалась лодка-душегубка, которая догоняла барку. На лодке плыли трое, в корме стоял какой-то лысый старик, который правил лодкой, Исачка и Гришка изображали из себя пассажиров. Старик был немало выпивши и громко распевал песни. Исачка слегка подтягивал ему.

— Ишь как с песнями катят, ровно под венец, — удивлялись бурлаки.

— Как это они старика-то подбили?

— Да вишь он выпивши, они его и объегорили.

Лодка подплыла, Исачка с Гришкой высадились на барку.

— Весело ты плаваешь, — смеялись бурлаки над стариком.

— О чем мне плакать-то, — храбрился старик, потряхивая бородой.

Исачка с Гришкой как ни в чем не бывало встали к поносной и поглядывали на старика; тот начал беспокоиться, глядя на их бесстрастие.

— Эй, поштенные, денежки!..

— Которые?

— За провоз.

— Сколько тебе?

— Полтинник.

— Дорого.

— Такая ряда была.

— Ты недослышал.

— Дослышал.

— Уступи.

— Не могу, самому дороже станет.

— Пожалуйста, уступи, дедушко.

— А ты не разговаривай, мне обратно надо.

— Возьмешь тридцать?

— Мало.

— Возьми, пожалуйста, — упрашивал Исачка.

— Нет.

— Ну так коли не берешь, приезжай завтра.

— Не шути, мне ехать надо.

— Завтра.

— Да ты в самом деле не отдашь?

— Завтра.

— Эй, ты, седая борода, — кричал водолив, — што пристал к баркето, отваливай подобру-поздорову, пока целы старые кости.

— Мне деньги нужно.

— Отваливай, говорят, — и водолив оттолкнул лодку от барки, облив старика водой из черпака.

— Завтра, дедушка, за деньгами-то, — кричал Исачка.

— Ах вы, дьяволы! — ругался старик.

— Ступай своей дорогой, дедушко, а то запалишь лысину-то на солнышке, — советовал кто-то.

— Ах, черти проклятые! — стоял старик во весь рост на лодке, отгребая к берегу.

— Потрубит теперь старичок до деревни-то, — смеялись бурлаки.

— Эй, старый, — кричал Исачка, — взад пойду, к тебе ночевать зайду.

— Попадетесь к нам в руки, взад-то как пойдете, – не унимался старик.

— Куда тебе, старому чорту с нами дела иметь!.. — кричал Исачка.

«Ах, анафемы эти бурлаки!» — соображал про себя старик, подымаясь вверх по реке. День выдался жаркий, старик вспотел скоро, дорога была дальняя, нужно было подниматься на лодке вверх по реке часа

три. Все время, пока подымался по реке, старик клял бурлаков на чем свет стоит, призывая на их головы всевозможные несчастья.

А бурлаки плыли весело вперед, все дальше и дальше. Исачка с Гришкой рассказывали, как они подрядили старика в кабаке, как он вез их всю дорогу с песнями. В заключение Исачка вытащил из кармана какой-то потертый кошелек, и принялся считать в нем деньги.

— Это у тебя отколь кошель-то, — спрашивал Гришка.

— Отколь?! — Исачка хитро улыбнулся.

— Ах ты, мазурик, где ты это смамонил?

— Где? А когда плыли со стариком-то…

— Да где же ты кошель-то достал?

— В носу лодки лежал его кафтан, а в кафтане этот кошель, я его и упер.

— А денег много?

— Сорок семь копеек.

— Ай, Исачка, то-то ли не плут!.. То-то ли не легкая рука…

— Вот старик хватится денег-от, покатит он вас, — смеялись бурлаки.

— А мы выпьем в городе за его здоровье старое, штобы еще пожил маненько седая борода на белом свете да у нашего брата уму-разуму поучился, покедова мы живы, — улыбался Исачка.

— Н-ну, нар-родец! — качал головой сплавщик.

Барка плыла дальше, берега менялись, изредка попадались на берегу деревеньки, солнце нещадно палило, казалось, что даже вода испускала из себя тепло, но это было только отражение солнечных лучей. Бурлаки приутихли, и барка молча катилась вниз по реке. Как сонные стояли бурлаки у поносных, после недавнего кутежа у всех трещало в головах, только один Исачка не унывал и продолжал бодрствовать.

— Давай, Гришуха, споем сибирского генерала, — предлагал Исачка.

– Давай, — соглашался Гришка.

Как сибирской енерал
Становова обучал,
Ой, калина! Ой, малина!

— затянули дуэт Исачка с Гришкой.

— Молодцы! — хвалили бурлаки певцов.

По щекам его лупил,
Таки речи говорил.
Ой, калина! Ой, малина!
Ах ты, сукин сын, прохвост,
Што не правишь ты дорог?
Ой, калина! Ой, малина!
Ты помилуй, Вашество,
Наше слабо естество!

— Вер-рно… — поощрял кто-то певцов.

Тут сибирской енерал
Еще пуще осерчал.
Ой, калина! Ой, малина!

— Будет, Гришка, — говорил Исачка, — што нам позадарма горло-то драть.

— Пойте, братцы, — просили бурлаки.

— Ну, только для вас, — великодушно соглашался Исачка, подталкивая Гришку.

— Споем им, пусть не поминают нас с тобой лихом, — говорил Гришка, тоже под наитием великодушия.

Коль пятсот рублев не дашь,
Так и с должности шабаш.

Продолжали певцы, поощряемые публикой.

Глядь-поглядь, наш становой,
Слетел из стану долой.
Ой, калина! Ой, малина!

— Из песни слова не выкинешь, — улыбался сплавщик.

А за ним и сам исправник,
Фалалей Кузьмич забавник.
Ой, калина! Ой, малина!

— Ай да , хваты-ребята! — хвалили бурлаки певцов. — И все, надо полагать, истинная правда в песне-то.

— А ты бы думал как, известно, правда, — утверждал Исачка.

Еще через день пути барка приплыла к месту своего назначения, бурлаки получили расчет, кутнули в первом кабаке и отправились восвояси. Согласно условию, Исачка с Рыбаковым прокутили все полученные деньги и пустились в обратный путь без гроша, исключая бывшей с ними Савишны, которая берегла свои деньги и в трудном случае могла выручить своих друзей. Исачка после тяжелого похмелья, с веселым лицом двинулся в путь, у него был в голове один великолепный план, который он решился привести непременно в исполнение.

Часть вторая

I. Мельница в лесу

Верстах в восьмидесяти от пристани Быстрой, в глухом лесу, на берегу маленькой речки стояла мельница старика Якова, поселившегося здесь неизвестно когда и по какой причине. Про старика Якова и его мельницу много различных слухов ходило в народе, начиная с того, что он отъявленный раскольник, укрывающий беглых «австрийских попов», и кончая тем, что у него всегда можно сбыть и воровскую медь и краденое золото. Но эти слухи, ходившие в народе, имели много неясного и, видимо, преувеличенного, потому что старика Якова выставляли вместе и колдуном большой руки, творящим большие чудеса направо и налево. Что хорошо было известно про старика Якова, так это то, что он редко куда показывается из своей мельницы, которая была устроена на манер какой-то крепости, попасть в которую ни с какой стороны было нельзя, тем более, что у старика Якова было несколько громадных собак-волкодавов, не подпускавших ни одной живой души на сто сажень до мельницы. Благодаря последним сторожам, старик Яков мог считать себя совершенно безопасным в своей мельнице и от волков, и от худых людей, не раз пытавшихся пощупать бока старику, которого народная молва наделяла несметными богатствами.

На дворе стояла темная осенняя ночь. В мельнице старика Якова виднелся свет, выходивший из маленького четырехугольного оконца, огороженного снутри толстой железной решеткой. Это оконце выходило из комнаты самого старика Якова, сидевшего за столом в переднем углу и внимательно читавшего большую старинную книгу, в подержанном кожаном переплете. Давно читает Яков старинную книгу и далеко уносится своими мыслями от настоящего.

— «Грех в мире, везде грех и соблазн...» — читает вслух Яков, перевертывая толстый пожелтевший от времени лист старинной книги, — «и будет в последние дни, что на отца восстанет сын и дщерь на матерь свою и невеста на свекровь свою: и будут врази человеку домашние его».

Резкий лай трех псов прервал чтение старика, и он подошел к оконцу, из которого, кроме кромешной тьмы осенней ночи, ничего не было видно. Собаки лаяли. В избу старика вошел молодой парень.

— Кто там, Василий? — спрашивал старик.

— Надо полагать, волки, батюшко, — почтительно докладывал Василий, стоя у порога.

— Нет, Вася, на волка не так псы лают, это они на человека лают. Спросите, кто там.

Василий вышел.

— Батюшко, тебя какой-то мужик спрашивает! — докладывал через четверть часа Василий.

— На што ему меня?

— Да говорит, мне два слова переговорить с самим стариком Яковом.

— Пустите его, — приказывал старик, усаживаясь снова за свой стол.

В избу вошел в сопровождении Василия наш старый знакомый Исачка, одетый в городе в новые штаны и рубаху.

— Чего тебе, добрый человек? — пристально смотрел Яков на вошедшего.

— Да к твоей милости вот пришел, дело одно есть, — говорил Исачака, искоса поглядывая на стоявшего рядом Василия.

— Коли есть дело, так говори, — испытующим оком смотрел на Исачку старик.

— Дело-то такое… — замялся Исачка, — што с глазу на глаз только и смогу поговорить с тобой.

— Вася, иди в свою избу, позову, когда будет надо, — говорил старик сыну, сейчас же вышедшему за двери.

Исачка остался один в избе со стариком; оглянувши кругом избу и удостоверившись, что в ней никого действительно нет, Исачка приступил к делу.

— Наслышались мы про тебя, старче, што принимаешь ты медь, а у нас есть шесть пудов красной меди в штыках, так не хочешь ли купить ее у нас?

— Што она у вас, собственная, аль на чужих ногах к вам пришла? — лукаво улыбался Яков, не спуская глаз с Исачки.

— Собственная… в лесу нашли.

— То-то, много вас тут шатается с такой-то медью, только она мне не надобна по той причине, што за нее и я попадусь как кур во щи. Это понимаешь? Нынче времена трудные…

— Как не понять, — чесал затылок Исачка, — только у нас медь-то своя собственная…

— Завод свой в горах открыли? — насмешливо спрашивал старик.

— Завод не завод, а медь у нас своя.

— Ну, мне вашей меди не надобно, — отрезал старик.

— Возьми, век за тебя будем Бога молить, — просил Исачка.

— Сказано — не возьму, потому у меня не две головы на плечах, а за вашу медь досыта наотвечаешься, да еще в остроге за нее сгниешь.

— Мы с тебя дешево возьмем, — не терял еще надежды Исачка.

— Не надо...

— Дешевле репы, просто чуть не задаром, только штобы не пропадала попусту.

— А сколько, к примеру, хотите вы получить за краденую-то медь?

— Да просто совестно и сказать-то, все равно задаром: двадцать пять салковых за пуд…

— Как?! — навострил ухо старик.

— Двадцать пять салковых пуд, — повторил Исачка.

— Н-нет, — качал головой старик, — мы такой цены не слыхивали, несите к другим, может и тридцать за пуд дадут.

— Да у нас здесь, недалеко.

— Штобы с тобой лишку не разговаривать, говори последнюю цену.

— Двадцать.

— Нет, таких денег у нас нет. Прощай…

— Ну, а твоя цена какая? — спрашивал Исачка.

— Моя цена, штобы без разговоров: бери по красненькой за пуд и делу конец.

Исачка чесал за ухом, не зная, на что решиться.

— Прощай, старче, — говорил Исачка, поворачиваясь к двери, — из рук выпускаешь счастье-то…

— Бери красненькую…

Исачка скрылся за дверью, но минуту спустя воротился:

— Хочешь, старче, грех пополам: пятнадцать салковых за пуд.

Исачка исчез, старик что-то раздумывал. Подождав четверть часа, он стукнул ногой о пол, в дверях стоял Василий.

— Вороти того…

Исачка вошел в избу. Долго торговался старик, туго набивая цену, но наконец покончил на пятнадцати рублях, потому что Исачка запер-ся на них и не сбавлял ни копейки.

— Только вы того, ухо востро, не попадитесь кому, — добавил наставление старик, — завтра здесь в полночь лесом сюда и тащите, а я буду вас ждать.

— Хорошо… — мялся Исачка.

— Теперь иди с Богом.

— Да… тут ище одно дело есть… — переминался Исачка.

— Какое ищо?

— Да вишь… я тебе отдам медь по красненькой за пуд, только ты сделай такую штуку…

— Какую это?

— Вишь, у меня есть товарищ, а мне бы не хотелось с ним делить-ся… Когда, значит, мы к тебе принесем медь-ту, ты ее возьми у нас, а нас припугни да в шею… А за расчетом я к тебе после один уж приду. Согласен?

— Мне все равно…

— Только ты меня, старче, не надуй.

— Не в первый раз.

Исачка ушел, но опять воротился.

— У меня ищо к тебе дело есть, — говорил Исачка.

— Говори.

— За шесть пудов меди мне с тебя причитается шестьдесят цалковых.

— Так.

— Тут есть одна баба, ежели ее побережешь недельку, так я тебе красненькую заплачу…

— Место есть у нас, приводи, — соглашался старик, соображая что-то.

Прошла ночь, прошел день, наступала другая ночь.

По темному глухому лесу по едва заметной тропинке пробирались Исачка и Рыбаков, направляясь к мельнице старика Якова. Страшно было в лесу в глухую темную полночь, но чего было бояться Исачке с Рыбаковым, когда они были полными хозяевами леса.

— А што если этот мельник да надует нас с тобой, Исачка, — говорил Рыбаков.

— Других не надувает, а мы чем грешнее других-то. Мы бы кого не надули, а нас трудновато, — говорил Исачка.

За плечами у обоих пешеходов висели небольшие котомки, в которых были завернуты медные штыки.

— Тяжело тащить-то, пристал я порядком, — кряхтел Рыбаков, шевеля плечами, которые резали веревки от котомки, — далеко ли мельница?

— А вот дойдешь, сам увидишь.

Лай собак дал знать близость мельницы.

— Ты впереди, Исачка, а меня ищо, пожалуй, разорвут собаки, — говорил Рыбаков.

Скоро на поляне зачернелась мельница, в которой по-вчерашнему было освещено одно оконце.

— Вишь, трущоба какая, — удивлялся Рыбаков, — тут его нескоро достанешь. Крепкой надо полагать старик, коли в лесу поселился. На себя надеется много.

На лай собак вышел Василий и провел пришедших уже в знакомую нам избу. Старик, как и вчера, сидел за книгой.

— А, добро пожаловать, добрые молодцы, — приветствовал старик бурлаков, — а я думал, што вы уж и не придете ко мне.

— Мы свое слово держим, — храбрился Исачка, — коли взялся за гуж, так не говори, што не дюж.

— Верно говоришь, умную речь хорошо и слушать, — поощрял старик Исачку, — а покажите-ка свой товар?

Рыбаков оглянулся боязливо, но в комнате никого не было, кроме их троих со стариком. Исачка первый развязал свою котомку и разложил на лавке своих шесть штык, Рыбаков сделал то же.

— Мы товар лицом продаем, — хвастался Исачка, подмигивая Рыбакову, — у других воровское да краденое все, а у нас собственное…

— Так, — любовался старик, пересматривая штыки одну за другой, — и заповедь Господня нам говорит: не укради.

«Не тот вор, кто ворует, а кто ворованное принимает», — думал про себя Исачка.

Осмотрев и пересчитав штыки, старик стукнул ногой, и явился Василий.

— Вот снеси-ко, Вася, покупку-то в амбар, знаешь куда? — говорил старик сыну.

Василий мотнул головой в знак согласия, и собрав половину принесенных штык, понес их в амбар.

Бурлаки переглянулись, Рыбаков вопросительно смотрел на Исачку, Исачка на Рыбакова.

— Што же, поштенной старичок, — начал Исачка, почесывая затылок, — деньги-то когда нам?

— А вот сичас и деньги, не торопись, милый человек, — говорил старик, отворяя небольшой сундучок, окованный железом.

Василий пришел во второй раз и вынес последние штыки. Рыбаков дергал Исачку за рукав. Старик вынул из сундучка подержанный пузатый бумажник и бережно развернул его.

— Ну, други, получайте расчет, — говорил старик, подавая Исачке и Рыбакову по рублю.

Бурлаки взяли деньги и ждали, что будет дальше. Старик так же бережно сложил бумажник и запер его в сундук. Рыбаков растворил рот от удивления.

— Вы теперь куда думаете итти? — спрашивал спокойно старик, как будто ни в чем не бывало.

— Што… што же ты наш расчет-то? — недоумевал Исачка.

— Какой расчет? Расчет вы получили сполна, по два расчета зараз не получают: не по два горошка на ложку, — улыбался старик.

— Ты, старой черт, подавай наш расчет!.. — с пеной у рта кинулся к старику Рыбаков, но в эту самую минуту дверь отворилась и в избу вошли три здоровенных молодца, в придачу к которым вошел еще Василий.

— Ты никак с ума спятил совсем, — улыбался старик в упор Рыбакову, — только у нас здесь такое заведенье, штобы каждое дело честь честью, а ежели чуть што… молодцы у меня шутить не любят.

— Ты зубы-то не заговаривай, а говори дело, — вступился Исачка.

— Я вам вот што, молодцы, скажу, — продолжал старик тем же тоном, — идите себе подобру да поздорову, коли добра хотите.

— А вот я тебе задам… — скрипя зубами, кинулся Исачка к старику, но четыре железных руки схватили его как клещи, и Исачка сразу сдался.

Рыбаков вступился за Исачку, началась борьба, кончившаяся в непродолжительном времени тем, что бурлаки были скручены по рукам и ногам и в таком положении вытащены на полянку перед мельницей.

II. Похищение

На реке, по которой проплыла барка, стоит несколько домов, спрятавшихся почти совсем в зелени прибрежного густого леса. В одном доме виднеется огонь, который выходит на реку из большого окна. В избе за столом с полштофом водки сидят наши знакомые, Исачка с Рыбаковым и Савишной.

— Не будь я… — стучит кулаком по столу совсем пьяный Рыбаков, — да я… значит недоеду этого старика… Сроду такого плута не видывал… всю бороду у старого чер-рта вытащу!..

— Беспременно, — подзуживал Исачка, — мы ему не мытьем, так катаньем доедем… А то просто красного петуха запустим.

— Вер-рно!… Кр-расного петуха… веррно!!.

— Да мы ищо не то сделаем с ним, — кричал Исачка, — мы его просто возьмем утопим, а собак перестреляем.

— Отлично… черт возьми! — кричал Рыбаков, вылупив глаза.

— А ежели не успеем застрелить собак-то, так отравим… мышьяк у меня где-то есть.

— Мол-лодец, Исачка! — поцалуй меня! — обнимал Рыбаков Исачку, — ты… ты… прросто молодец!

— Давай выпьем, — предложил Исачка, наливая рюмки водки.

— Выпьем… с горя мы пьем ведь?

— Известно, с горя. Оба рубля пропиваем, что старик-то нам отвалил…

— Ах он… да ах, черт его раздери… да я еммууу… брр…

Рыбаков выпил свою рюмку с ожесточением, Исачка выплеснул водку на пол, а рюмку опрокинул над горлом, делая вид, что и он пьет.

— Давай ищо с горя по другой выпьем?

— А ну, дуй его горой… — пил вторую рюмку Рыбаков, окончательно дурея от выпитой водки.

Исачка и эту рюмку выплеснул на пол, причем таинственно подмигнул Савишне, которая была бледнее обыкновенного. Еще рюмок пять выпил Рыбаков и, закатив глаза, снопом повалился на лавку.

— Теперь пора, — шептал Исачка Савишне, подмигивая в сторону храпевшего Рыбакова.

Савишна тихонько вышла за дверь, за ней вышел Исачка.

— Ты не забыла-ли чево-нибудь в избе-то? — шепотом спрашивал Исачка.

— Все взяла, — шептала Савишна, поправляя маленькую котомку за плечами.

Исачка с Савишной тихонько вышли из избы и направились по маленькой тропинке к лесу. Савишна трусила, она верила и не верила Исачке, но, раз решившись на подобный шаг, Савишне возвратного пути не было и она, перекрестившись, следовала за Исачкой.

— Я там насчет тебя сговорился со стариком-то, — говорил Исачка Савишне, — штобы значит ты у него пока прожила недельку, а я тем временем побываю не пристани у себя, посмотрю, как и што делать. Только ты тово, Савишна, смотри, не проболтнись старику-то насчет наших делов с Рыбаковым. И Боже тебя сохрани! А как будешь жить на мельнице-то, присматривай между делами-то, где и как и што, а главное пригляди, куда старик деньги свои прячет, нельзя ли нам на ихнюю мельницу залезть помимо ворот, псов ты этих анафемских приучи к себе на всякий случай. Одним словом, держи ухо востро, не подгадь дела, а там мы с тобой устроимся где-нибудь подальше от Быстрой и заживем припеваючи. Верно тебе говорю.

— Хорошо поешь, Исачка, да где сядешь, — качала головой Савишна, — и плут ты первостепенный и рука у тебя легкая, а все-таки тебя надуть ничего не стоит, потому ты плутишь, плутишь да сам и запутаешься в своем-же плутовстве. На кой дьявол со стариком-то связывался, што-нибудь да искрасть?

Савишна ничего не знала про кражу меди, потому что и Рыбаков и Исачка решили держать это дело в тайне от Савишны.

— Глупая твоя голова, Савишна, — увещевал Исачка свою возлюбленную, — а ты бы и рассудила то, куда я твою-то голову на первый раз приютил. Ну, скажи куда? На Быстрой Рыбаков жизни бы не дал тебе, на заводы мне носу показать нельзя, без денег жить по деревням нельзя. И выходит, что некуда нам с тобой деваться, окромя старика. Надо ищо нам с тобой Бога за него молить, што берет-то тебя.

— Увидим, Исачка, больно ты на язык-то речист, как бисером, так и сыплешь, только што в твоих словах проку будет.

Темным сплошным лесом вилась узенькая тропинка, по которой шли Исачка с Савишной, и которая наконец привела их на поляну пред мельницей старика Якова.

— Вот мы и дома, — трепал Исачка Савишну по плечу.

— А ты долго не придешь за мной? — спрашивала Савишна.

— Да с неделю прохожу, если не меньше, — говорил Исачка, прямо направляясь на знакомый уже ему лай мельниковых собак.

Ворота мельницы отворились, и Василий встретил пришедших.

— Вот и мы, — говорил Исачка, подмигивая Василию, — што старик-то поделывает?

— Старик-то… — замялся Василий, — старика дома нет, он по одному делу ушел.

Исачку озадачил такой оборот, он меньше всего ожидал его и поэтому окончательно растерялся, не зная, что ему предпринять.

— А и заходите, переночуете, а там утро вечера мудренее, может, и старик будет к утру-то, — говорил Василий.

— Нет, мне не с руки ночевать у вас, — соображал Исачка, начинавший немного приходить в себя.

— Как знаешь.

— Што, Савишна, будем делать-то? — спрашивал Исачка.

— Да вы заходите, а там переговорите, — настаивал Василий.

— Исачка с Савишной вошли в знакомую комнату старика.

— Вы, чай, устали, — говорил Василий, — закусить хотите?

— Да как бы не мешало, — мялся Исачка, у которого давно чувствовался позыв на еду.

— Так пойдем с нами, поужинаешь там, а девица пусть идет в бабью половину, — говорил Василий.

Все разошлись. Василий провел Савишну по темному двору куда-то к низенькой избушке, вросшей в землю. Отворив двери, Савишна очутилась в уютной светлой комнатке, где были двое, сам старик Яков и довольно молодая женщина.

— Здравствуй, умница, — говорил Яков, — садись за стол с нами, поужинаем чем Бог послал.

Савишна сняла котомку и верхнюю кацавейку.

— Да, никак, это Савишна, с Быстрой! — всплеснула руками женщина, бывшая в избе со стариком.

Савишна оглянулась, но не могла узнать женщины.

— Аль не узнала, а ищо была чуть не соседкой… — корила Савишну женщина… — помнишь Татьяну Онисимову? Я самая Татьяна и есть.

— Ах… Танюшка, милая… — бросилась Савишна к женщине, — да какая же ты раскрасавица стала… И ни в жисть свою не узнать мне тебя.

Женщины болтали, старик сидел в углу и молчал, а потом вышел. Исачка, поужинав, оставил мельницу, направляясь обратно в ту деревню, в которой был оставлен Рыбаков.

Великолепная осенняя ночь стояла над землей, высокий месяц дозором обходил все небо, за ним следом искрившимися толпами плыли мириады звезд.

На другой день происходила на мельнице Якова такая сцена:

— Так ты говоришь, она остается на мельнице? — спрашивал Исачка старика Якова, не веря своим ушам, так было странно то, что он сейчас только услышал от мельника.

— Сказал, што остается, — спокойно говорил старик, — она и тебе велела сказать, что с тобой не пойдет отсюда и с другим ни с кем. Дома у ней никакого нет, паспорт выдан на год, вот и будет жить да поживать да добра наживать, чем с вашим братом без пути шататься, горе мыкать да лишний грех на душу брать. А мне она тоже нужна, потому нам такая баба нужна, на мельнице и по дому работы найдется, а то и замуж выдадим. И тебя на свадьбу, может, позовем.

Исачка слушал старика и смотрел на него во все глаза, но все-таки не мог понять хорошенько всего, что говорил ему старик.

— Не может быть, чтобы она осталась здесь, — догадался наконец Исачка, — это вы сами хотите ее оставить здесь… Покажите мне ее, я сам хочу поговорить с ней.

— Как знаешь, она придет сюда, подожди, — говорил старик, выходя из своей избы.

Вошла Савишна.

— Так вот как вы нашего брата нонече за нос водите, — начал было Исачка.

— Ты, Исачка, вот што я тебе скажу, — спокойным голосом говорила Савишна, — ты сам по себе, я сама по себе. Ты делаешь, што хочешь, и я тоже, значит и толковать нам с тобой не о чем. То же и Рыбакову скажи, потому путаться мне с вами надоело до смерти.

Исачка опять растерялся, не зная что отвечать и чему верить.

— Ты, Исачка, ступай своей дорогой, а мне с тобой не с руки. Поживу пока здесь, а там увижу.

Савишна вышла из избы.

— Што, слышал? — спрашивал Исачку Яков.

— Слышал…

— Теперь што думаешь делать?

— И перво хочу тебя поблагодарить, спасибо за хлеб, за соль, за привет да за ласку. Спасибо, старче, удружил ты мне, помирать буду — вспомню…

— Не за што, друг, — говорил Яков, — всякому свое, я тут не причина ничему.

— Погоди благодарить-то меня, — продолжал старик, — дослушай дело до конца. Ты теперь куда думаешь девать деньги, которые от меня получишь?

— Ну уж это мое дело...

— Твое, да не совсем. Знаешь поговорку: не тот вор, кто ворует, а кто ворованное принимает. Значит, и деньги тебе выдай за медь и за твое воровство отвечай пред Господом. Да ищо дай тебе в руки деньги, а ты

с ними таких бед натворишь, што чертям будет тошно. А все кто будет виноват? Я — первое, воровское принял, второе, деньги в руки тебе дал. Значит, я виноват, мне и ответ держать. Так ли я говорю?

— Говори, говори, старче, што-то уж оченно хитро, — крутил Исачка свой ус.

— Ну так я и порешил, буду, мол, за все про все отвечать своей головой пред Господом Богом, с одним грехом меньше все же легче, а по этой причине я тебе денег обещанных не дам, а употреблю их на богоугодное дело, на спасение моей и твоей души, чтобы, значит, легче нам было на том свете.

— Так, — раздумывал Исачка, — хорошо, только зачем ты мне обещал, зачем меня обманывал? Это не грех тебе будет, бедного человека обижать, у нищего суму отымать?

— Полно, полно, — смеялся мельник, — какой ты бедный человек, у тебя руки здоровые, работать можешь, целую семью кормить. А што насчет обманства, так это долг платежом красен: ты перво хозяина меди обманул, потом обманул своего товарища, и обманул их для своей мамоны, а мне не грех будет обмануть такого человека как ты, да ищо для хорошего богоугодного дела. Теперь понял?

— Как не понять, — скрежетал зубами Исачка, чувствуя, что вдвойне попал впросак, — одно слово, надул меня и делу конец. Только это дело тебе даром с рук не сойдет, и не будь я Исачка, коли не будет по моему...

— Не грози, парень, мы и сами с усами, — спокойно говорил старик, — и не таких видывали да в ус не дули. А што твоих угроз, так я их на волос не боюсь, потому у меня все на порядке: к мельнице тебе не подойти ни в жисть, а если кого подведешь, так мы и ответ держать умеем, а твоим речам так ищо не поверят. Да ежели ты сунешься по начальству, так тебя же и запрячут в острог, а я буду молиться о твоей душе. А штобы тебе дойти до дому, я тебе на дорогу три салковых дам и прощай.

Исачка с тремя рублями очутился за пределами мельницы Якова.

III. Возвращение Одиссея

Чудный осенний вечер стоял над рекой, красно-багровое солнце тихо опускалось над горизонтом, разливая кругом целое зарево огнисто-желтого, ярко-пурпурного света, от которого таяли и играли легкие перистые облачка, проплывавшие по западной части неба.

Небольшая тропинка змеей извивалась по горе, покрытой лесом, делая тысячи поворотов, направо и налево; наконец, тропинка вышла на верх горы, где лес значительно поредел, и вот пред глазами открывалась чудная далекая панорама, которой можно залюбоваться. На тропинке на большом камне сидел Исачка и смотрел кругом. Пред ним на

ближайшем плане река, отделенная с одной стороны густым лесом, с другой разлившаяся далеко по поемным лугам, а там дальше, на берегу реки, рассыпала свои домики Быстрая. Бесчисленное множество раз видел Исачка эту картину и любовался ей, и теперь смотрит он на нее пристальным взглядом, смотрит и не видит, потому что много мыслей толпится в голове у Исачки.

«И вот завсегда так, — раздумывал Исачка, — уж кажется, чево бы, возьми да в рот положь, ан не тут-то было, ты только руку протянул, а тебе сичас и покажут кузькину мать, што она такое значит есть. Э-эх! Уж сколько раз хаживал я на сплав и на заводы, и на рудники, вот-вот навертывается в руки счастье, вот оно мое будет, — опять кузькина мать, опять Исачка с голыми руками, опять Исачка мыкается по белу свету с пустыми руками».

«Вот в этот сплав, — раздумывал дальше Исачка, — кажется, уж и говорить не о чем, все обделали чистенько, любо-дорого. Нет, попутал Господь и тут, лишил разума Исачку, потянулся Исачка за бабой и попал ловко… Э-х, как ловко обделали Исачку, как липку ободрали да обработали его малость. Не надо хуже! И все из-за бабы! И добро бы первой раз… Эх ты, горе-горькое жить ишшо, голь перекатная, легкая рука».

И представляется Исачке, как старуха-мать ждет его с обещанным сарафаном, как староста придет за оброком… Тошно Исачке смотреть на белый свет, не хочется ему идти на Быструю, а деться больше некуда. Впрочем... есть у Исачки за пазухой распоследний рубль, потому он отсюда прямо в царев кабак, пропьет Исачка этот рубль да поставит ребром каждый грош.

НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Очерки весеннего сплава

I

По западному склону Уральских гор сбегает много горных рек и речонок, которые составляют главные питательные ветки бассейна многоводной реки Камы. Между ними, без сомнения, по оригинальности и красоте первое место принадлежит реке Чусовой, которая прорыла свое каменистое ложе сквозь скалы и горы на расстоянии нескольких сотен верст. Эта горная красавица представляет для судоходства почти непреодолимые препятствия, и поэтому нам особенно интересно познакомиться с тем, как преодолевает это препятствие простой русский мужик, даже не знающий грамоты. Свое начало Чусовая берет немного южнее Екатеринбурга, сначала течет на север, а потом медленно поворачивает к северо-западу, пока не впадет в реку Каму выше города Перми верст на двадцать.

Сплавная часть Чусовой, то есть та, по которой возможно судоходство, тянется на 600 верст. Средняя часть этого течения, занимающая верст 400, составляет самую живописную полосу Чусовой и кончается как раз в том месте, где проходит через реку Уральская железная дорога. Здесь Чусовая выбегает окончательно из «камней», как бурлаки называют горы, и дальше уже течет по низменной равнине, где берега только иногда поднимаются высокими буграми, и на них, как исключение, попадаются те страшные прибрежные скалы, которые бурлаки называют бойцами. Самая красивая часть Чусовой вместе и самая опасная для плывущих барок: у бойцов «бьются» не только барки, но и люди гибнут десятками.

На всем своем протяжении Чусовая представляет совершенно пустынную реку, где прибрежные селения являются каким-то исключением. Правда, на Чусовой стоят несколько больших заводов, которые, конечно, оживляют реку, но их слишком мало; затем остаются пристани,

откуда отправляются барки; но пристани оживляются едва на один месяц в году, на время весеннего сплава, а на все остальное время точно засыпают…

А между тем Чусовая имела и имеет громадное значение для Урала, потому что по ней ежегодно сплавляется больше шести миллионов пудов разных грузов, одних бурлаков на чусовских пристанях каждую весну собирается до двадцати пяти тысяч человек.

Несколько лет тому назад мне случилось проплыть без малого всю Чусовую с весенним караваном, о чем я и хочу вам рассказать.

В последних числах апреля месяца, когда на открытых местах снег уже стаял и показалась первая бледная зелень, я подъезжал по самой ужасной дороге к одной из верхних чусовских пристаней. На Чусовой стоял еще лед, рыхлый и ржавый; в лесу лежал почерневший снег, но в воздухе уже чувствовалась весна, и с неба лились волны теплого весеннего света, заставлявшего высыпать из-под прошлогодних листьев зеленые усики молодой травки и набухать ветви берез, рябин и черемухи. Весна на Урале, как и в других северных или гористых местах, наступает быстро, разом, так, что, собственно, пожалуй, и нет той весны, какая бывает на юге: переход от зимы к лету слишком резок, как и переход от лета к зиме.

В первую минуту я не узнал знакомой пристани, на которой бывал несколько раз летом и зимой. Обыкновенно тихая деревушка, с полсотней изб, облепивших крутой берег, теперь походила на живой муравейник, где копошились тысячи черных точек. В воздухе там и сям слышалась «Дубинушка»:

Ой, дубинушна, ухнем!
Раззеленая, подернем…

Улицы были запружены бурлаками, так что экипаж мог пробраться только шагом. Сейчас за деревней, на низком мысу, стояло десятка полтора почти совсем готовых барок, оставалось только кое-где проконопатить пазы (отверстия между досками) и залить их варом. Эта работа была не трудная, и совсем готовые барки только ждали момента, когда на реке тронется лед, чтобы всплыть на вольную вешнюю воду.

– К Ермолаю Антипычу, – сказал я своему кучеру.

– Ладно…

Моя повозка остановилась у низенького, одноэтажного дома с большими окнами, выходившими прямо на реку. Я всегда любил этот низенький бревенчатый домик, в котором было так тепло и уютно, а между фуксиями и геранями, которые стояли на окнах, каждый раз мелькало розовое, улыбающееся личико маленькой девочки, Любеньки. Нужно сказать, что мы были большими приятелями, и Любенька звонко встре-

чала меня каждый раз одной фразой: «Папа, папа! Городской человек приехал!» Любеньке было шесть лет с небольшим, и она нигде не бывала, кроме своей пристани, потому я и получил у нее название «городского человека».

– А то как же? Вы даже в Москве бывали и в Петербурге, – говорила девочка, недоверчиво поглядывая на меня светлыми глазками. – Конечно, городской, а вот я – деревенская...

В первый раз, когда Любенька услыхала, что я бывал в Москве и Петербурге, она долго не хотела верить такому чуду: никто из пристанских не заезжал в такую даль. Москву и Петербург можно видеть только в книжках с картинками. Только когда Ермолай Антипыч убедил маленькую дочурку, что я действительно был так далеко, Любенька наконец поверила и назвала меня городским человеком. Впрочем, по выражению ее глаз я иногда замечал, что она сомневается в своем городском человеке и производит ему маленький экзамен.

– Папы нет дома, – заявила Любенька на этот раз. – Он на берегу, где строятся барки...

– Городской человек устал, Любенька, и хочет чаю.

– Сейчас я скажу Марфе.

У Любеньки не было матери, которая умерла года три тому назад, и всем хозяйством в доме заправляла ворчливая, старая Марфа. Домик Ермолая Антипыча разделялся на четыре небольших, уютных комнатки, из которых одна была занята кабинетом Ермолая Антипыча, в другой жила Любенька, а две последних носили громкое название гостиной и столовой, хотя могли быть названы и иначе, потому что в столовой, например, стояла кровать хозяина, а в гостиной – его длинный письменный стол.

– Вы кстати приехали, – говорила Любенька, пока я в гостиной разминал разбитые дорогой ноги.

– А что...

– Да так... Река скоро тронется, будет очень весело. Барки мимо нас побегут. Потом свой караван будем отправлять... Как же!.. Из пушки будут стрелять на берегу... Я боюсь, когда из пушки стреляют...

– А когда, Любенька, Чусовая тронется?

– С часу на час ждут... Сплавщик Илья у нас вчера чай пил и говорил, что скоро уж. Барки готовы, бурлаки собрались... Да...

Маленькая хозяйка рассказала мне последние пристанские новости, которые, главным образом, вертелись все около того же сплава.

– Снега нынче глубоки, – серьезно рассказывала Любенька, – Илья боится, как бы дружная весна не ударила... По высокой воде много барок убьется.

Девочка передавала только то, что сама слышала от других, и говорила тем языком, каким говорят только на Чусовой: «барка убьется», а

не разобьется, потому что для сплавщика Ильи барка — не мертвая посудина, а живое существо: «ударит дружная весна», «снега выпали глубоки», «река тронется» и т.д.

II

Едва Марфа успела подать кипевший самовар, как в передней послышались голоса Ермолая Антипыча и сплавщика Ильи.

– У нас городской человек, папа, – докладывала Любенька, выскочив навстречу отцу.

– Мы гостям рады, – отвечал Ермолай Антипыч, появляясь в дверях.

– Здравствуйте, Ермолай Антипыч, – здоровался я, пожимая руку хозяина. – Как поживаете?

– Чего нам делается: живем с Любенькой, как чирки в болоте. А вы к нам на сплав?

– Да, хотелось бы сплыть на караване до Перми...

– Что же, доброе дело: место найдется. Вот я сейчас же и передам вас с рук на руки Илье... Где ты, Илья?

– Я сейчас, Ермолай Антипыч, – отозвался из передней Илья, – грязищи натащил на сапогах с улицы-то, надо обтереть, а то всю горницу вашу изведу...

– Да иди, ничего: грязь не сало, – высохло, отстало...

– Нет, это уже не порядок! Как же можно... Да барышня-то меня в другой раз и не пустит в горницу.

Сплавщик Илья наконец вошел в горницу, помолился в передний угол на образ и, тряхнув подстриженными в скобку волосами, поклонился на все три стороны, хотя в горнице, кроме нас троих, никого не было. Это был небольшой, сухонький старик с козлиной, темной бородкой, вылезавшей поверх синего, сермяжного кафтана клинушком: худое, желтоватое лицо Ильи не отличалось ничем особенным, за исключением глубоко ввалившихся, необыкновенно живых серых глаз, которые смотрели на все режущим, прищуренным взглядом. Короткие, кривые ноги Ильи ступали медленно и крепко, точно шагал какой богатырь; сгорбленная спина и вытянутые, длинные руки делали его фигуру очень некрасивой на первый взгляд, но такие спины и руки бывают только у тех тружеников, которые работают, не жалея себя.

– Ну, здорово живете, – проговорил Илья, расставляя широко ноги и засовывая одну руку за красную шерстяную опояску, которою был перехвачен его синий кафтан.

– Здравствуй, Илья... Садись, так гость будешь.

Мы просидели за чаем незаметно целый час; разговор шел все время о Чусовой: когда она тронется, да как высока будет вода нынче, да

не ударила бы дружная весна и т.д. — по пословице: у кого что болит, тот о том и говорит. Такие разговоры в квартире Ермолая Антипыча, вероятно, происходили последнее время изо дня в день, но они никому не надоедали, как не надоедает музыканту говорить о музыке, охотнику — об охоте, актеру — о театре. Даже Любенька не находила эти разговоры скучными и вставляла в них тоненьким голоском свое детское словечко. Илья любил «испить чайку» и пил стакан за стаканом, пока оставалась вода в самоваре, причем, как мышь, отгрызал свой кусочек сахару и постоянно стряхивал крошки с него себе в блюдечко; старая Марфа всегда сердилась на старика за его «аппекит» к чаю, потому что после господ любила сама побаловаться около самовара, а тут изволь-ка ставить для себя другой.

– В чего он только пьет, этот ваш Илья? – ворчала Марфа, сердито убирая пустой самовар со стола. – Дорвался до господского чая, рад ведро выпить.

– Теперь мы на берег сходим, – предлагал Ермолай Антипыч, обращаясь ко мне. – Вы, поди, не знаете, как и барки-то строятся?

– Нет.

– Вот Илья вам все, как по пальцам, расскажет...

Мы вышли. Весь берег Чусовой был запружен бурлаками; на мыске, где стояли магазины и совсем готовые барки, люди шевелились, как живая муравьиная куча. От домика Ермолая Антипыча до мыска было с полверсты, и мы все время шли между живыми стенами. На время сплава на чусовские пристани народ набирается со всех сторон: из ближайших уездов Пермской губернии, из Вятской, Уфимской и даже Казанской. Некоторые бурлаки приходят на сплав за целую тысячу верст. Такой дальний путь в весеннюю распутицу требует недель пять и крайне тяжело отзывается на бурлаках: испеченные на солнце лица с растрескавшейся кожей, вместо одежды – какие-то лохмотья, на ногах лапти, за плечами – рваная грязная котомка, в руках – длинная палка, – по этим признакам вы сразу отличите бурлаков из дальних мост от рабочих с пристани и ближайших заводов.

– Здорово набралось бурлачков, – говорил Илья, когда мы начали спускаться под кручу берега. – Скворцы прилетят сперва, а за ними бурлачки...

Мы спустились по глинистой дорожке на самый мысок, где по берегу разместилось десятка два совсем готовых барок.

– Вот и наши посудинки, – любовно заметил Илья, постукивая кулаком в борт одной барки, которую еще конопатили. – Так носиками и глядят в реку...

Сплавщик Илья и вообще бурлаки относятся к барке, как к живому существу, которое имеет свои достоинства и недостатки, желания и даже капризы. Одна барка «любит сваливать нос направо», другая «вертит-

ся на ходу и прижимает корму к берегу», третья «лихо разводит речную струю», но «шалит под бойцами», и т.д. Опытный сплавщик, вроде Ильи, с первого взгляда видит достоинства и недостатки каждой барки, тогда как мне они казались совершенно одинаковыми…

III

На другой день я ходил около барок, когда по всему берегу пронесся общий крик: «Вода на прибыль пошла…» Толпы народа бросились к реке. Где-то вдали слышался неясный, глухой шум.

— Это вода идет, — объяснил Илья. — Пришло, видно, времечко нашей кормилице Чусовой вскрываться… Вон как лед-то надулся! Сейчас тронется…

Вода быстро прибывала; лед отстал от берегов и дал несколько трещин. Шум усиливался, точно по реке ползло громадное животное, с подавленным шипеньем и свистом. Скоро весь лед зашевелился и образовалось несколько свежих полыней, точно льдины были разорваны какой-то сильной рукой.

— Воду из Ревдинского пруда спустили, — объяснял Ермолай Антипыч. — Чусовая иногда стоит долго, и вешняя вода может сбежать подо льдом. Чтобы взломать лед, спускают воду из Ревдинского пруда.

Ревдинский завод стоит в верховьях Чусовой, и его громадный пруд служит главным запасом воды для сплава по реке. Обыкновенно выпускается громадный вал, который растягивается по реке верст на двести; это и есть тот паводок, по которому сплавляются весенние караваны.

Через час картина пристани изменилась совершенно, точно все разом ожило кругом с громким говором и веселым весенним шумом. По реке длинной вереницей плыли льдины всевозможных форм: одни — желтые от весенней наледи, другие точно были источены червями. На поворотах они сталкивались и лезли одна на другую, образуя ледяные заторы; особенно сильно напирал лед на мысок, где стояли барки; льдины, как живые, вылезали на песок и рассыпались здесь сверкающими ледяными кристаллами и белым снежным порошком. В воздухе потянула струя холода, а стоявший на Чусовой лес глухо зашумел. Откуда-то взялись вороны, которые, с беспокойным карканьем, перелетали с льдины на льдину.

— Ну, теперь нам самая горячая работа, только успевай поправляться, — говорил Ермолай Антипыч. — Нужно завтра спустить все барки в воду и в три дня нагрузить. Каждый час дорог! Ведь на каждую барку нужно положить грузу тысяч пятнадцать пудов… На некоторых пристанях есть свои гавани, ну, там успевают нагрузиться заблаговременно, а нам приходится грузить прямо в реке.

Вся пристань приняла совершенно праздничный вид. Все разоделись в лучшее платье, какое у кого было. Пристанские мужики вырядились в ситцевые новые рубахи и новые кафтаны, на бабах запестрели яркие сарафаны и кумачные платки. Только не во что было разодеться бурлакам, которые пришли на пристань издалека. Им, вероятно, сделалось еще тяжелей от этого чужого праздника.

— Ох, скорее бы сплав, — говорил седой старик, глядя на реку.

— А что, дедушка, больно торопишься?

— Да как не торопиться-то, родимый... Время-то теперь какое стоит? День прошел даром, — зимой неделя голодная... Как же? Пашня не ждет нашего брата, пока мы валандаемся по пристаням-то... Вон скоро и Еремей-запрягальник... Только ленивая соха в поле не выезжает к Еремею-то...

Еремей-запрягальник, то есть 1 мая, в жизни пахаря — великий день; им открывается летняя крестьянская страда, от которой зависит заработок целого года. Поэтому-то пришлые бурлаки-крестьяне и торопятся поскорее вернуться по домам.

На другой день происходила «спишка» барок. До двух тысяч бурлаков собралось на мысу. От барок к воде проведены были «склизни», то есть толстые бревна, смазанные дегтем; по этим склизням барку и спихивали в воду. Крику и суеты при таком важном событии было много. Барку с одной стороны сталкивали «чегенями», то есть деревянными кольями, а с другой — удерживали толстыми канатами, снастью. В воздухе висела стоголосая «Дубинушка», все лица были оживлены, громкое эхо катилось далеко вниз по реке и гулко отдавалось на противоположном берегу. Ермолай Антипыч с раннего утра был здесь, потому что необходимо было поспеть везде, все предусмотреть, везде отдать необходимые приказания. Крик рабочих и дружная бурлацкая песня на спишке — все это на первый раз производило оглушающее впечатление, как на громадном пожаре, где люди совсем потеряли голову и напрасно надрывают себя в бесцельной суете.

— Барку зало!.. — слышится крик десятка голосов около спихиваемой барки. — Право плечо подчегенивай... Евмен, трави снасть-то!.. Навались ужо, родимые!..

Сильнее других кричал сплавщик Илья, в одной рубахе бегая по барке, которую «зало», то есть остановило при спуске по склизням. Десятки голосов спорят и кричат во все горло; всякий лезет с своим советом, и никто не хочет слушать. «Левое плечо зало!» — «Нет, льяло зало!» — «Ворот надо подставить, Илья!» Барка сдвинута с платформы, на которой строилась, на склизни, но дальше не идет.

— За самое днище держит! — слышатся голоса.

— Склизни смазать надо, робя...

Дело кончилось тем, что Илья обругал всех непрошеных советчи-

ков, сам слазал под барку и осмотрел, где ее заело. Подвели несколько клиньев, и барка медленно сползла по склизням, вспенив воду широким валом. По реке плыли редкие льдины, которые точно торопились поскорее уплыть от общей суматохи.

Спущенную в воду барку сейчас же на канате подвели к магазинам с металлами. С берега на борт было перекинуто несколько сходней; несколько сот бурлаков уже ждали очереди начать нагрузку. Я забрался на носовую палубу, чтобы посмотреть, как пойдет бурлацкая работа. Здоровый мужик с рыжей бородой распоряжался все время, пока устраивали сходни; старик Илья подошел ко мне и, вытирая вспотевший лоб платком, присел на какое-то бревно.

— Это сплавщик? — спросил я, указывая на рыжего мужика.

— Нет, сплавщик-то я, а рыжий мужик — водолив... Вавилом звать. Как барку на воду спустили, тут уж водолив должен ее на себя принять, — вся барка его. Течь где покажется, пакля вылезет из пазов, вода накопилась на барке — все это наблюдает водолив...

— Значит, настоящий хозяин на барке водолив, а не сплавщик?

— Водолив, барин... Без его спросу никто не может войти на барку или сойти, потому как он за все в ответе. А сплавщик — другое: вот теперь я должен смотреть за нагрузкой, штобы правильно грузили, а то как раз барку убьешь; потом я должен в целости представить барку до самого места... Это уж мое дело...

Как только сходни были готовы, на барку бесконечной вереницей двинулись бурлаки с тяжелыми ношами в руках. Барка Ильи, как лучшего сплавщика, грузилась сортовым железом, то есть самым ценным материалом, который может много потерять, если попадет в воду. Бурлаки, как муравьи, тащили на барку связки всевозможной формы; среди топота сотен бурлацких ног и резкого лязга нагружаемого железа трудно было расслышать человеческий голос. Илья едва успевал распоряжаться, куда и как класть принесенное железо; скоро около бортов и по средине барки образовались правильные кладки листового железа... Барка медленно садилась все глубже: Илья постоянно справлялся с мерой осадки и прикидывал опустившуюся часть бортов в воду при помощи деревянной наметки, разделенной на вершки.

Вообще работа кипела. Красные, вспотевшие лица бурлаков, кряхтенье и усталые движенья свидетельствовали о тяжелой работе, какая выпала на их долю. Для непривычного человека два часа такой работы тяжелее целого рабочего дня где-нибудь на пашне; тащить железную полосу весом в 3—4 пуда — нужно силу, а потом и сноровку. Привычные к такой нагрузке пристанские бурлаки только посмеивались, а крестьяне, которые были на сплаву в первый раз, просто выбивались из сил. Почти целая наука существует о том, как легче поднять такой-то сорт железа, как его легче тащить до барки и как класть на место.

Неопытный рабочий сначала напрасно обдерет себе до крови руки о железо, а потом уж научится, как и что следует делать.

— Теперь у нас заварилась каша на целых три дня, — говорил Ермолай Антипыч, когда пришел посмотреть, как грузится барка Ильи. — Днем и ночью будем работать.

— А спать когда?

— Бурлаки будут работать сменами; пока одна смена работает, другая отдыхает. А мы, видно, уж так... Если вздремнешь часик-другой в сутки, — твое счастье, а то и так на ногах сон износишь. Нельзя, каждая минута дорога. Вот караван отправим, тогда успеем отдохнуть. Да чего спать: поесть некогда... Марфа мне обед принесла в магазин; так я уж на ходу кое-чего. Поел: на все стороны тебя рвут.

IV

Нагрузка продолжалась в течение трех дней, причем работа кипела и по ночам, при свете громадных костров на берегу. Картина пристани в такую ночь была поразительная, точно это был разбойничий притон, где ночью старались захватить то, чего нельзя было взять днем.

Лично для меня эти три дня тянулись очень медленно, как для человека совершенно лишнего в этой трудовой суете. Даже ходить и смотреть, как грузятся барки, надоело порядочно, потому что повторялись одни и те же картины, сцены и разговоры. Но зато на самой пристани, где кишмя кишели бурлаки, было что посмотреть и послушать, и я целые дни проводил среди оборванного и голодного люда. Кого-кого только не было в этой разношерстной, вечно галдевшей толпе! Народ набрался с четырех губерний, и всякий принес с собой свой говор, покрой платья, свои особенности в привычках и характере. Но было и общее в этой разноплеменной толпе: всех собрала здесь одна сила, имя которой — нужда. Загорелые лица, лохмотья и рубища вместо одежды, и — заплаты, заплаты, заплаты... Нужно заметить, что на весенний чусовской сплав идут только самые последние бедняки, из самых бедных деревень и деревушек: случайные несчастия — вроде неурожая, засухи, пожара, скотского падежа и разной другой крестьянской беды — заставляли самых сильных рабочих в семье оставлять деревню и брести иногда за тысячу верст.

...Когда Ермолай Антипыч сказал, что ему и пообедать будет некогда в эти дни, я сначала не поверил, — мало ли что говорится для красного словца, — но потом пришлось поверить, потому что он приходил домой всего часа на два в день, а все остальное время проводил около магазинов. Таким образом, мы с Любенькой оставались вдвоем и подолгу разговаривали от нечего делать, особенно по вечерам. В комнате так тепло и уютно, самовар ворчит так дружелюбно на столе, разные булочки и сухари выглядывают из хлебной корзинки так ап-

петитно, — право не хотелось даже верить, что вот тут, сейчас за стеной, широкой волной разливается самая горькая бедность, которая рада всякой заплесневелой корочке. Те маленькие удобства, которых не замечаешь обыкновенно, теперь мне казались необыкновенной роскошью, за которую было просто совестно: сидеть в теплой уютной комнате, иметь отличный обед, чай, газету, теплое платье, когда сотни людей голодают и мерзнут, когда есть, может быть, больные, которым не на что даже купить простого ржаного хлеба; нет, быть тепло одетым, иметь теплое помещение, хороший стол, — это действительно величайшее счастье, которого люди, в большинстве случаев, не умеют ценить, как не умеют здоровые ценить своего здоровья…

— А знаете что, — говорила однажды Любенька, когда мы сидели за вечерним чаем. — Я иногда думаю про себя, неужели наши пристанские барки доплывут до Петербурга?..

— Вероятно, половина доплывет и до Петербурга.

— А мне так не верится: какая-нибудь пристанская барка и вдруг будет в Петербурге!

— Да, и пойдет, по всей вероятности, на дрова и заборы. Честь не особенно большая.

Любенька, никогда не выезжавшая со своей пристани, составила себе о столице самое фантастическое понятие, как о каком-то волшебном городе, где улицы состоят сплошь из пятиэтажных домов, ночью от газовых фонарей светло, как днем, на каждом шагу — блестящие магазины, по мостовой вихрем несутся богатые экипажи с нарядными дамами и мужчинами, и нигде даже малейшей тени нет ничего похожего на бедность или нищету.

По вечерам, когда Любенька давно уже спала со своими мечтами о Петербурге, я открывал окно и долго любовался великолепной картиной, катившейся с глухим рокотом Чусовой, сплошным лесом, который зеленой зубчатой стеной поднимался сейчас же на том берегу, далекими горами, чуть повитыми туманной дымкой. Вся пристань ночью засыпала мертвым глубоким сном, какой нарушался только редким лаем цепных собак да глухим шумом, который доносился со стороны грузившихся барок. Оттуда, вместе с холодной и сырой струей воздуха, поднимавшегося с реки, тянуло смолистым дымом горевших костров. Река совсем очистилась ото льда, и только изредка на ней показывались белыми пятнами запоздавшие льдины; вероятно, они плыли из какого-нибудь бойкого горного притока. Однажды, когда я таким образом сидел у окна и любовался спавшей пристанью, в воздухе с шумом и свистом пронеслась стая кряковых уток. Слышно было, как она опустилась в воду у противоположного берега, и черные точки долго бороздили темную речную струю, оставляя позади себя длинный, двоившийся след. Река вскрылась, и теперь по всему течению кипела не ме-

нее хлопотливая работа, чем на пристанях: кряквы, шилохвостки, гоголи, чирки и другие представители утиной породы торопливо вили гнезда по разным укромным местечкам, чтобы через несколько недель выплыть на Чусовую с целым выводком крошечных желтеньких утят. В поднимавшейся осоке уже скрипел коростель, а по песчаным отмелям можно было видеть целый день бегавших куликов и бекасов.

Начинались те белые ночи, какие обыкновенно бывают на Урале; небо совершенно прозрачно, и с бездонной голубой выси льется трепетный, дрожащий свет, который покрывает матовым серебром все — и лес, и горы, и воду.

V

Пока шла нагрузка, вода на Чусовой спала почти до прежнего уровня, — вал, выпущенный из Ревдинского пруда, прошел. Весенние чусовские караваны отправляются вниз по этому валу, который растягивается по реке верст на двести; для этого второго, самого главного паводка вода из Ревдинского пруда выпускается иногда в течение двух суток. Вода в реке поднимается на несколько аршин; но караваны могут плыть вниз только по определенной высоте такого паводка: он должен стоять выше летнего уровня воды на Чусовой от 2 1/4 до 3 аршин. Если вода стоит ниже, тогда караванам грозит опасность обмелеть; если выше, — барки рискуют разбиться около бойцов. Понятно поэтому, с каким нетерпением на пристанях ждут второго вала: от него зависит весь успех сплава…

— Вода идет… Вода!.. — пронеслось по улице рано утром, когда я еще спал.

Вся пристань собралась на берегу. Выползли самые древние, полуслепые старики и старухи, чтобы хоть одним глазом посмотреть, как будет «отваливать» караван с пристани. Ледоход и отвал каравана — два великих праздника на пристани для старого и малого. Все, что есть живого и имеющего хоть малейшую возможность двигаться, все до последнего человека выползает на берег; откуда-то появляются калеки и увечные: у одного ногу раздавило при нагрузке тяжелой железной крицей, другому «на хватке» руку перерезало снастью, третий не владеет ни руками, ни ногами от ревматизма, полученного на съемке обмелевших барок. Для этих несчастных инвалидов чусовского сплава каждый ледоход и отвал только лишний раз напоминает об их несчастье, но они все-таки толкутся на берегу: «Хошь часок погалдеть с бурлаками, и то на душе легче». Лето да зима долги, успеют еще насидеться и належаться по избам.

— Ноне вода самая мерная, — говорил Илья, осматривая свою совсем готовую барку. — Авось сплывем помаленьку.

— Не загадывай вперед, Илья, — останавливал рыжий водолив, отличавшийся вообще очень «сумнительным» характером и недоверчивостью.

Барка Ильи называлась «казенкой», потому что на ней плыл караванный приказчик, и по этому случаю на палубе была устроена небольшая каюта, около которой поднимался «глаз», то есть высокая мачта с разноцветным пером наверху, что-то вроде павлиньего хвоста. На всех пристанях устраиваются такие же казенки; при них существует особый разряд бурлаков, известных под именем «косных». Косные выбираются из самых лучших бурлаков и щеголяют во все время каравана в кумачных рубахах и в шляпах с разноцветными лентами: по этим лентам и различаются косные разных пристаней. Свое название косные получили от косной лодки, на которой они разъезжают от барки к барке с разными приказаниями приказчика…

Мне тоже предложили поместиться на казенке, в каюте приказчика, и, как только вода пошла на прибыль, все мои пожитки из квартиры Ермолая Антипыча перешли в каюту.

— А вы не трусите? — спрашивал меня на прощанье Ермолай Антипыч.

— Пока ничего, а вперед не ручаюсь…

— Помните только одно, — советовал добрый старик, — не нужно торопиться… Народ глуп: чуть барка задела о боец, — все в лодку; а где же в одну поместиться шестидесяти человекам? Друг друга топят… А вы смотрите на сплавщика: что он будет делать, то и вы делайте.

Мне оставалось только поблагодарить за хороший совет.

Ермолай Антипыч с Любенькой проводили меня до самой казенки, где хлопотал Илья с бурлаками и косными. Все барки были готовы тронуться в путь и вытянулись вдоль берега в одну линию. Вода с шумом все прибывала и прибывала; по реке неслись доски, бревна и свежие щепы, захваченные водой по верхним пристаням. Бурлаки давно разместились по баркам и тащили под палубы свои котомки; плыть по реке придется дня четыре, нужно было запасти на все время хлеба, сухарей и кой-какого приварка на всякий случай. Работа впереди предстояла тяжелая, и похлебать чего-нибудь горяченького усталому бурлаку было особенно необходимо, чтобы окончательно не выбиться из сил…

— Ну, Илья, пора отваливать, — решил Ермолай Антипыч, поглядывая на часы. — Как бы сверху караван не набежал… Сколько воды стоит?

— Одиннадцать четвертей, Ермолай Антипыч…

— Отваливай, Илья, отваливай!..

Ермолай Антипыч с Любенькой последними оставили нашу барку. Бурлаки встали к поносным, водолив сбросил сходни. День был сол-

нечный, светлый, весь берег покрылся первой бледной зеленью, в лесу заливались прилетевшие птицы…

Илья глубоко надвинул на голову свою войлочную шляпу, оглянулся на усыпанный народом берег и скомандовал:

— Отдай снасть!..

На берегу засуетились, и в воду тяжело шлепнулся толстый канат; барка точно вздрогнула и начала отделяться от берега.

— Нос налево, молодцы! — крикнул Илья, и носовые потеси тяжело бултыхнули в воду, распахнув ее на две широкие вспенившиеся волны.

На берегу сверкнул огонь, и по реке гулко прокатился первый пушечный выстрел, за ним — другой, третий… Белый дымок взмыл кверху, точно в воздух бросили охапку пуха. Весь берег с домами, сотнями народа, с магазинами и стрелявшими пушками точно поплыл от нас назад, вверх по реке. Одна барка отваливала за другой, начиная тяжело загребать воду потесями. Я стоял на корме и долго смотрел на уплывающий берег, где в воздухе мелькала белая точка: это Любенька махала городскому человеку своим платком.

Река скоро сделала крутой поворот, и пристань скрылась совсем из виду. Барка плыла в крутых зеленых берегах точно между двумя стенами; вода пенилась и журчала под носом барки и била в берег пенившейся волной… Чусовая была неузнаваема… Река именно «играла», как говорят бурлаки про весенний паводок; более удачного названия трудно и подобрать. Даже на плесах, то есть на таких местах, где летом вода стоит тихо-тихо, как зеркало, теперь широким током катилась могучая волна, которая на крутых поворотах превращалась в бешеного зверя. Около вогнутой части берега образовались майданы, то есть ряды сильных волн, которые с шумом разбивались около бортов барки и с диким ревом лезли на берег, жадно обсасывая береговые камни.

— Поддоржи корму, молодцы!.. — кричал Илья, взмахивая рукой. — Корму поддоржи… Корму…

Потеси с глухим шумом падали в воду, и барка вздрагивала от топота бурлацких ног. Теперь она была действительно живая, одно громадное целое, слепо повиновавшееся одной воле. Отдельные лица бурлаков слились в одну сплошную массу, точно по палубе ходила серая волна, а потеси буравили, пенили воду, как громадные деревянные руки.

Я долго любовался сплавщиком Ильей, который стоял теперь на своей скамеечке в своем синем кафтане и красной опояске, как настоящий полководец: по одному движению его руки, как перышки, летали в бурлацких руках потеси, и барка медленно поворачивала носом туда, куда ей следовало поворотиться. Прежнего Ильи, который пил с нами чай у Ермолая Антипыча, точно совсем не стало, а был совсем другой человек, от которого зависела участь не только барки, но и всех бурла-

ков. Спокойное выражение лица, уверенный взгляд прищуренных серых глаз, твердый голос, — одним словом, Илья сразу переродился.

— Ну, что, барин, хорошо наша Чусовая играет? — спрашивал меня Илья, когда барка выплыла на широкое плесо.

— Да, ничего...

— А вот камушки подойдут, там она ужо утешит нас, голубушка... Небо с овчинку покажется с непривычки!

VI

С каждым шагом вперед перед глазами развертывалась бесконечной лентой величественная горная панорама. Горы сменялись, выступая в реку громадными скалами в несколько десятков сажен высоты. Обыкновенно такие скалы стояли на крутых поворотах реки, на ее вогнутом берегу, так что водяная струя прямо несла барку на такую скалу, на боец. Здесь, на этих обнаженных утесах, можно было видеть результаты разрушительного действия воды. В течение тысячелетий река шаг за шагом размывала каменные горы, обнажая громадные, каменные стены, точно созданные руками каких-то гигантов, а не слепой стихийной силой. Таких боевых мест слишком много на Чусовой, чтобы описывать каждое в отдельности; самые опасные бойцы имеют собственные названия, а менее опасные просто называются боевыми местами...

Как теперь вижу одно такое боевое место. Река катилась в сравнительно низких берегах, горы остались назади; барка плыла по вольной струе легко и свободно. На берегу зеленел густой ельник; отдельные деревья подходили к самой реке и протягивали лапистые, мохнатые ветви далеко над водой...

Я долго всматривался вперед, — река катилась в таких же зеленых берегах, как раньше, только впереди слышался глухой шум. «Это, вероятно, «зайчики» играют», — подумал я, стараясь разглядеть опасное место. Через минуту все дело объяснилось; дорогу реке перегородила невысокая каменистая гора, и река образовала под ней крутое колено, чуть не под прямым углом. Вода здесь страшно бурлилась и пенилась, и вверх по реке далеко поднималась пенистая грядка больших волн. Скоро барка попала на «зайчики», ее подхватило сильной струей и быстро понесло вперед, прямо на каменистую горку. Поворот был так крут, что я на минуту считал опасность неотвратимой, тем более что барка стрелой летела по «зайчикам» прямо на камни. Задача заключалась в том, чтобы пройти у противоположного берега; корма мутила воду, задевая за берег, нос был повернут к струе, которой его отбивало тоже к берегу. Одно мгновение, и барка птицей пролетела под камнем, оставив игравшие «зайчики» назади.

— В третьем годе здесь три барки убилось, — говорил Илья, когда барка опять спокойно плыла по широкому и гладкому плесу.

Нужно было видеть, как работали бурлаки около «зайчиков». На барке — ни звука, все замерло, и едва успевала сорваться команда Ильи, как потеси начинали уже неистово грести воду, разгоняя по всей реке пенистую широкую волну.

— Славно работают бурлаки, — заметил я Илье.

— Ничего... Вон погляди на наших пристанских... любо-дорого. В них — вся сила, а пришлые — те только так мешаются. Погляди, как пристанские подбрасывают поносное-то... Игрушка, а не работа!

VII

— Скоро Межевая Утка, — говорил Илья. — А там уж вплоть до Кына все в камнях побежим...

Межевая Утка, как пристань, очень красивое селение, дворов в полтораста; на берегу стоит старая часовня, на стрелке между Уткой и Чусовой — красивая караванная контора и очень хорошая гавань, где строятся и грузятся барки. Крепкие избы, расположенные по плану, несколько домов в два этажа, лавки — все это придает Межевой Утке зажиточный и довольный вид...

— Вон они, камешки-то, — говорил Илья, закидывая голову назад. — Вверх поглядеть, так и шляпу потеряешь...

На самом верху этих каменных дворцов чернеют покосившиеся деревянные кресты. Это единственный памятник, который оставляют бурлаки над погибшими товарищами, зарытыми где-нибудь на противоположном берегу, где топорщится своими опущенными ветвями верба.

— А много бурлаков погибает на сплаву? — спрашиваю я Илью.

— Всяко случается, барин... Другой сплав Господь пронесет все караваны милостиво; только это редко бывает. Человек пяток — десяток все-таки погибнет с барок... Бывали и такие весны, что и все сто человек тонули. Много нашего брата, бурлаков, по Чусовой закопано на берегу.

Скоро мы увидели на самом деле то, о чем говорили кресты на скалах. Пониже деревни Пермяковой, когда наша барка начала огибать крутой мыс, раздался общий крик:

— Убитая барка!.. Барка убилась!..

Илья, заслонив глаза от солнца рукой, пристально смотрел вдаль. В полуверсте от нас из-под бойца плыла какая-то бесформенная масса, которую трудно было принять за барку. Видно было, что по реке плыло что-то большое, с торчавшими досками и бегавшими людьми.

— Ох! левым плечом черпнула воды, сердечная, — проговорил Илья, продолжая наблюдать убитую барку. — Вон люди-то как копошатся в воде, точно тараканы!

Ближе обозначалась корма тонувшей барки с бессильно висевшим в воздухе поносным; разбитая барка опускалась в воду все ниже и ниже, тихо заворачиваясь по течению, кормой вперед. В воде мелькали черные точки: это были бурлаки с разбитой барки. Косная лодка плыла по реке без людей, до краев налитая водой. Вероятно, в суматохе рабочие побросались в нее, и лодка перевернулась от непосильной тяжести.

— Ох, дрянь дело... Как бы она нам реку не загородила, — хлопотал Илья. — Ишь как ловко пришлось: так дохлой коровой и плывет по реке... Ударь, братцы, нос-то налево! Сильно, гораздо ударь, молодцы!.. Ударь, голубчики!.. Нос налево!.. Нос налево!..

Боец приближался к нам и быстро вырастал в большую известковую скалу, упиравшуюся в реку острым гребнем. Об этот гребень, вероятно, несчастная барка и ударилась. На берегу бестолково бегали выплывшие рабочие, некоторые сидели и безучастно смотрели на плывшую мимо разбитую барку. Какой-то седой старик в красной рубахе бежал по берегу к нам навстречу, размахивал руками и что-то громко кричал. За шумом волн и скрипом потесей ничего нельзя было расслышать.

— Ударь корму-на-конь!! — неистово закричал Илья, когда наша барка стрелой полетела к бойцу. — Родимые, не выдавай!

Трудно передать наступившую торжественную минуту: на барке царило гробовое молчание, бурлаки дружно подхватывали команду, и потеси летали, как перышки. Вот уж несколько сажен осталось до бойца, можно отчетливо рассмотреть каждую зазубрину на нем; вода, как бешеная, мечется и рокочет у его подножия... Нас отделяло от бойца каких-нибудь пол-аршина, когда барка медленно повернула от него нос и опасность миновала. Вода клокотала кругом, точно в котле, волны лезли на борта, как голодная стая волков.

— Шабаш-нос-от! — скомандовал Илья, снимая шляпу, чтобы перекреститься.

Барка была на вольной воде и тихо плыла дальше, мимо столпившихся людей на берегу. Все были мокрые, многие без шапок; что-то кричали вдогонку нам, но их крики трудно было расслышать. Тут же кого-то откачивали на растянутом кафтане. Видно было только, как болталась бессильно голова и дрыгали босые побелевшие ноги.

— Двое захлебнулись, — коротко заметил Илья.

На берегу, под таловыми кустиками, виднелись две неподвижно лежавшие фигуры, прикрытые дырявым зипуном. Мелькнуло посинелое лицо с мокрыми волосами, судорожно сжатая рука — и только. Кто эти жертвы сплава? В какой деревне две семьи будут оплакивать дорогих покойников, может быть, единственных кормильцев? Какие дети осиротели в каких-нибудь четверть часа?.. Грустно и тяжело было смотреть на эту слишком обыкновенную картину для Чусовой... Река так же весело катилась вниз, лес так же зеленел на берегу, и над людским

горем чиликала свою беззаботную песенку какая-то безыменная лесная птичка.

...Мы скоро нагнали «убитую» барку, она тихо плыла возле самого берега; палуба была сорвана, и из-под нее выглядывали рогожные кули. Весь груз был подмочен.

— Вишь, как исковеркана, — говорил Илья. — Не знаешь, к чему и применить... Левым плечом ударил о боец, вон и поносное носовое сорвало. Ох-хо-хо!..

Немного дальше в воде мелькнуло человеческое тело. Косные бросились к лодке его вытаскивать, но утопленник скрылся под водой.

— Еще упокойничек, — заметил Илья.

Косные ни с чем вернулись на барку. Производить дальнейшие поиски они не могли, потому что своя барка не ждет, да и мертвый человек не нуждался ни в чьей помощи. Все равно шальной волной где-нибудь выкинет на берег, на песчаную отмель, а там добрые люди подберут и похоронят.

VIII

Немного повыше Кыновской пристани в Чусовую впадает небольшая горная речка Серебрянка, а верстах в двадцати пониже реки Серебрянки на Чусовой стоит Кыновский завод, или, как его называют бурлаки, просто — Кын. Это не русское слово, а перешло к нам из пермяцкого языка: по-пермяцки «кыну» значит «холодный». И действительно, трудно себе представить что-нибудь бесприютнее и глуше Кына. Представьте себе глубокое ущелье, точно нарочно вырезанное из камня; по дну этого ущелья катится небольшая речонка, а по ее берегам расположились заводские домики, заводская фабрика, магазины для металлов. В глубине синеет полоса заводского пруда, и дымятся несколько доменных печей; ближе — белая каменная церковь, заводская контора и еще несколько домов с железными крышами.

— Нам этот Кын вот где сидит, — объяснил Илья, показывая себе на затылок.

— А что так?

— Да так... Видишь, как Чусовая-то выгибается здесь, пристань кыновская-то в самой излучине и стоит, ну, струей-то и сносит наши барки прямо на пристань, на кыновские барки. А пониже-то — перебор: либо о кыновские барки убьешься, либо на переборе... Выбирай любое да лучшее. Тут досыта бурлаки напарят лбы-то! Ну, милые, похаживай, нос направо!..

Мы прошли под Кыном благополучно, хотя бурлакам и досталось порядочно. Можно было удивляться их выносливости, а между тем впереди представлялось еще два дня пути, — это в счастливом случае, конечно.

— В сутки-то все часов восемнадцать у поносного выстоят, — говорил Илья про бурлаков.

— Да ведь это лошадиная работа!..

— Что будешь делать! Река-то нас не будет ждать...

— А отдыхать когда?

— А вот скоро и отдых будет: схватимся под Ослянкой. Пристань есть такая, пониже Кына, ну, за ней и хватка будет... Часов шесть простоим у берега, пусть вода догоняет нас, Да и людям тоже отдохнуть надо...

Я с нетерпением ждал хватки. Еще раньше мне много приходилось слышать разных рассказов о таких хватках на весеннем сплаву: как вырвало ухват, за который наматывают снасть, как перегорает этот ухват или огниво, как убивало и калечило людей лопнувшей снастью и т.д. Остановить барку с пятнадцатью тысяч пудов груза на такой быстрой реке, как Чусовая, — задача нелегкая.

— Вавило, снасть надо готовить, — проговорил Илья, когда мы проплыли Ослянку, последнюю пристань, где грузятся барки. — Засветло хвататься следовает.

Действительно, солнце уже начинало закатываться, и по реке от скал и леса потянулись длинные тени. Ночь здесь наступает с поразительной быстротой, а вместе с ночным сумраком надвигается пронизывающий весенний холод, который ползет на реку из глубоких логов, где еще лежит нерастаявший снег.

Водолив Вавило, неразговорчивый, суровый мужик, молча отправился за заднюю палубу и молча начал приводить в порядок снасть, то есть толстый канат, свернутый правильными кольцами. Последнее очень важно, чтобы при хватке снасть не путалась, а развертывалась свободно.

— Готово, — отозвался Вавило, становясь около огнива.

— Косные, садись в лодку! — скомандовал Илья.

Человек шесть отборных косных отправились в лодку и захватили с собой половину размотанной снасти.

— Тут, молодцы, как барка выбежит за мысок, есть излучина, — объяснил косным Илья, — а в излучине, на левом берегу, стоит матерый пень... Вот за него и крепи снасть!

Барка обогнула мысок, и впереди мелькнуло широкое плесо, с той излучиной, о которой говорил Илья. Вода здесь неслась не так бешено, как раньше, и барка пошла заметно тише. Чтобы еще задержать ее, Илья скомандовал «поддоржать корму», и барка пошла кормой почти около самого берега. Вон и два кедрика на берегу, и матерый пень, о котором говорил Илья. Лодка с косными отделилась от барки и стрелой понеслась к берегу. Кое-как приткнувшись к берегу, косные разом выскочили из лодки и потащили волочившуюся по земле снасть к кедрам. Барка в это время уже проплыла мимо них, и Вавило быстро

спускал в воду размотанную снасть, чтобы ее не выдернуло из рук у косных.

— Готово! — донеслось с берега.

— Крепи снасть! — скомандовал Илья.

Водолив накинул на огниво приготовленную петлю и натянул канат его на свободный конец. Барка вздрогнула, точно ее кто-нибудь схватил могучей рукой за дно. Снасть несколько раз тяжело шлепнула по воде, а потом быстро потянулась и задрожала, как струна. Барка почти совсем остановилась.

— Трави снасть! — кричал Илья.

Вавило спустил несколько оборотов, снасть опять тяжело шлепнулась в воду, и огниво задымилось. Барка точно сделала попытку освободиться от державшей ее узды и опять пошла вперед.

— Снасть трави!.. Снасть трави! — кричал Илья.

От огнива белыми клубами повалил густой дым, но его сейчас же залили водой. Снасть опять натянулась, но теперь барка уже потеряла половину приобретенной от движения по реке скорости и точно сама подошла к берегу.

— Крепи снасть намертво, — скомандовал Илья.

Снасть была завернута вокруг огнива мертвой петлей, и барка стала.

Илья поблагодарил бурлаков за дружную работу и поздравил с счастливой хваткой.

— Тебе спасибо, Илья Максимыч! — ответили десятки голосов. — Твоей головой держимся…

Была брошена на берег сходня, и бурлаки гуськом потянулись с барки.

Скоро на берегу запылали яркие костры. Около них толпились десятки бурлаков, точно китайские тени на экране волшебного фонаря. Кто варил кашу в чугунном котелке, кто грел у огонька застывшие руки, кто жевал сухую черную корочку, подставляя спину к огню, кто просто толкался между другими людьми, чтобы размять отекшие от стоянья ноги. Некоторые сидели, другие укладывались спать. Тут же, около огонька, свернется калачиком, положит кулак под голову, да и спит таким сладким сном, каким, вероятно, никогда не спят богачи на своих пуховиках и пружинных матрацах.

…А над Чусовой уже нависала короткая весенняя ночь с ее мягкими сумраком, холодом и лихорадочно горевшими звездами. Опять слышалась возня уток, и где-то в болоте без конца скрипел коростель…

IX

Ранним утром, когда я еще спал, барка отвалила и «побежала» вперед. Сквозь сон до меня доносилась команда Ильи: «нос направо»,

«поддоржи корму», но я спал, как убитый. Топот бурлацких ног на палубе, шум воды около бортов и бултыханье поносных как-то совсем слились с беспорядочными ночными грезами: то казалось, что барка летит прямо на боец, то слышался отчаянный крик утопающих, то наступала зловещая, мертвая тишина…

На воде, как, вероятно, случалось наблюдать многим, особенно развивается аппетит, а затем одолевает самый крепкий сон. Я продолжал лежать на своей лавочке, закутавшись в плед, когда по дну барки точно что черкнуло. Но это были пустяки: вероятно, барка задела за край подводного камня, а потом опять спокойно поплыла вперед. Я спал, когда сильный толчок заставил меня вскочить. Слышался глухой шорох, точно барка катилась по сухому гороху.

— Ничего, за огрудок немножко задели, — объяснил мой спутник, раскуривая папиросу. — Теперь не опасно… Барка почти совсем выбежала из камней; если попадем куда-нибудь на мель, так это не велика беда. Вот пониже Камасина, там будет работа…

— А что?

— Да пониже Кумыша… Слыхали про боец Молоков?

— Слыхал.

— Ну, там стоит посмотреть.

Когда мы так разговаривали, шорох повторился несколько раз, а затем барка разом врезалась во что-то мягкое и остановилась. Только вода глухо бурлила около бортов, да поносные продолжали напрасно бить направо и налево. Я вышел на палубу. Барка села на мель.

— Дрянь дело, — проговорил Илья, спускаясь со скамейки.

Бурлаки безучастно стояли на палубе и ждали, что скажет сплавщик.

— Что теперь будем делать? — спрашивал я.

— А вот надо, как-никак, с огрудка сыматься.

Очевидно, мы выбежали из гор. Впереди и по бокам расстилалась широкая равнина, где среди леса мелькали правильными квадратами поля, зеленели озими, и где-то далеко-далеко, на крутом берегу, виднелась деревня. По реке медленно плыли почерневшие, рыхлые льдины; на противоположном берегу стояла, покосившись, обмелевшая барка.

— Это откуда лед-то идет? — спрашивал я Илью.

— Да из Койвы, барин, — нехотя отвечал старик, которому было теперь не до меня. — Речка такая есть, Койвой называется, ну, лед из нее и идет… Того гляди, еще барку подрежет.

— Это как?

— А так: начнет льдина за льдиной по барке резать, ну, и прорежут борт… Ах ты, грех какой вышел! Никогда на этом самом месте огрудка не бывало, а тут вдруг огрудок.

— А деревня впереди какая?

— Да это Камасино... Ах ты, грех какой вышел!.. а!..

Деревня Камасино служит резкой гранью для Чусовой: здесь она окончательно выбегает из гор, впереди стелется волнистая равнина, покрытая лесом, пашнями и заливными лугами. Вдали можно было рассмотреть железнодорожный мост, перекинутый через Чусовую на высоких каменных устоях. Здесь Чусовую пересекает недавно построенная Уральская горнозаводская железная дорога. Около Камасина существует целый ряд опасных мелей, потому что река здесь разливается в низких берегах очень широко.

— Ну, братцы, как мы будем сымать барку? — спрашивал Илья, обращаясь к бурлакам.

Бурлаки переминались и ничего не отвечали. Илья нетерпеливо крякнул, бросил на палубу свои кожаные рукавицы и обратился к косным.

— Спущайте неволю... Попробуем сперва неволей сняться, авось и слезем с огрудка.

Неволей называется громадное бревно, затесанное с обеих сторон; оно походит на громадную доску, в несколько вершков толщины. Таких неволь при каждой барке обыкновенно две, и они плывут около бортов, несколько предохраняя борты от ударов о бойцы.

Через пять минут косные были готовы, то есть сняли кафтаны, сапоги и остались в одних рубахах. Один из них, здоровый мужик с русой бородкой, засучил штаны и, держась за борт барки, встал на неволю.

— Ах, студяно, — проговорил он, пробуя голой ногой холодную воду, — жгется вода-то...

— Ну, ну, не разговаривай! — кричал Илья. — Вавило, отвязывай неволю, а ты, Сергей, иди на конец.

Молодой парень в красной рубахе тряхнул волосами, перекрестился и разом перескочил через борт на неволю.

— Приготовь чегень, Прошь!

— Готово, — отозвался мужик, с русой бородкой, меряя дно коротким колом, который называется у бурлаков «чегенем». — Четвертей пять будет, — проговорил он...

— Видно, нечего делать, придется идти в воду, — решил Илья. — Не берет неволя... Ну, кто из молодчиков воды не боится? Ну, ребятки, которые помоложе, раздевайтесь да за работу!

Косные и человек десять молодых бурлаков сняли лапти, зипуны и остались в одних рубахах. Нужно было спускаться в воду под левое плечо, чтобы сдвигать его чегенями. Работа в холодной весенней воде тяжелая и крайне опасная. Бурлаки ее не любят, но приходится лезть в воду, потому что время не ждет. Мимо нас проплыло уже несколько барок. Завидно было смотреть на них, когда своя барка лежит на песке, как черепаха.

— Ну, братцы, чегени левое плечо! — скомандовал Илья, бегая

по передней палубе. — А вы, как ударят поносные, — кричал он косным на неволе, — поворачивай неволю… Да разом, братцы! Все разом…

Человек пятнадцать бурлаков выстроились под левым плечом барки и подхватили его своими чегенями.

Некоторым вода доходила по грудь. Лица посинели, у многих стучали зубы от холода. Положение было самое некрасивое… Чего стоило простудиться в этой ледяной воде и потерять не только здоровье, но и жизнь. От таких съемок много бурлаков уходят в могилу или на всю жизнь остаются калеками.

Когда неволя была приготовлена, и бурлаки стояли у поносных, Илья сам затянул «Дубинушку».

Што, ребята, присмирели,
Али выпить захотели…

Бурлаки подхватили.

Ой, дуби-инушка ухнем!
Раззеленая сама пойдет,
Сама пойдет… Подернем!..

— Идет барка! — кричал Илья, меряя воду длинным шестом. — Еще маненечко!.. Нос налево, молодцы!.. — кричал Илья. — Корму поддоржи… корму! корму!

Барка, как черепаха, поворачивала корму, крайне тяжело буравя носом песок, который под левым плечом образовал целую гору.

— Подчегенивай левое плечо!! — кричал Илья. — Молодцы, подчегенивай!.. Ай да молодцы!.. Еще разик!..

— Барка пошла… Барка пошла!! — закричали десятки голосов, и бурлаки с чегенями, как кошки, принялись карабкаться по бортам.

Барка была уже на вольной воде и тихо поплыла кормой вперед, «отурилась», как говорят бурлаки.

— Ну, слава Богу, — проговорил Илья, — спасибо, ребятушки!.. По стакану водки на брата!..

После такой ледяной ванны водка была необходимостью, чтобы хоть немножко согреться. У некоторых бурлаков нечем было переменить мокрые рубахи, и они прямо на них надевали свои сермяги.

— У поносного-то согреются помаленьку, — объяснил Илья. — Этакий грех вышел… Поди ты!

— Отчего у вас огня нет на барке, Илья? — говорил я. — Вот бы бурлаки и погрелись…

— Ну, нет, барин, ежели из ледяной воды да к огню, — тут тебе и конец… Уж это мы даже оченно хорошо знаем! Который бурлак, ежели

не обтерпится так, да сунется к огню, — сейчас пропал. Верно!.. Это уж завсегда так. У кого руки отнимутся, у кого ноги, а кто и совсем помрет.

— Да это хорошо говорить, когда на тебе все сухое, а каково вон им, которые в мокром стоят на палубе...

— Что же делать, потерпят... Ведь не впервой... Вот у Молокова да у Разбойника все согреются, пот прошибет. Ах, ты, подумаешь, грех какой вышел!.. А?!

X

Мы проплыли мимо деревни Камасино, под железнодорожным мостом, а затем показалась скоро и небольшая деревенька Кумыш. Эта последняя деревня замечательна тем, что пониже ее стоят самые опасные бойцы на всей Чусовой, — Молоков и Разбойник. Много барок бьется о них, особенно в высокую воду. Чусовая идет здесь в низких берегах, широким разливом, далеко заливая поемные луга; Молоков и Разбойник являются как бы последним и самым страшным препятствием, которым старик Урал загораживает еще раз путь горной красавице Чусовой.

Под Молоковым Чусовая делает поворот, и в привале этого поворота, куда сносит струей барку, стоит страшный боец. Самый камень издали не представляет собой ничего особенно страшного: это большая скала, которая повернулась навстречу воде своим отлогим краем. Вот по этой-то отлогости вода взбегает высоко на самый боец, а затем с страшным ревом и стоном бежит назад, в реку, образуя под бойцом настоящий ад из пенящихся волн. Еще издали слышно, как ревет река под Молоковым, а ближе вы видите только, что вся вода здесь превращается в сплошной поток белой пены, точно под бойцом кипит молоко. Отсюда и название самого бойца — Молоков.

— Шапки долой! — командовал Илья, когда наша барка с гробовым молчанием начала подходить к бойцу. — Постарайтесь, родимые!..

Конечно, бурлаков нечего просить о работе, они сами сознают всю важность наступающего момента и не пожалеют силы, чтобы барка птицей пролетела под самым страшным бойцом.

Нашу барку подхватило струей и со страшной быстротой понесло прямо на боец.

Река суживается к бойцу, и чувствуешь, как барку подхватывает могучая стихийная сила и с увеличивающейся быстротой мчит к страшному каменному выступу.

Вот уж мы в полосе пенящейся воды, которая, как бешеная, лезет седыми гребнями на борты нашей барки... Вот и сам грозный Молоков... Он точно растет с каждой секундой и быстро приближается к

нам. Сознание собственного движения как-то теряется в этом хаосе звуков, голова кружится, и кажется, что мимо барки бегут берега, а впереди ждет неумолимая, кипящая бездна. Но вот несколько сажен до Молокова... в воздухе стоит водяная пыль... Еще одна секунда, и нас измелет в страшном водовороте... В самый критический момент, когда общая погибель кажется неизбежной, раздается команда Ильи, поносные разом упали в воду, и барка быстро прошла под бойцом, в каких-нибудь двух аршинах от рокового выступа.

Мы спасены. Не верится, что опасность миновала так быстро. А впереди ждет Разбойник, но теперь он уже не страшен нам, потому что барка плывет по суводи.

— Похаживай, молодцы! — весело покрикивает Илья, похлопывая своими кожаными рукавицами.

Под Разбойником барка прошла благополучно. У всех отлегло от сердца. Слышатся смех и веселый говор. Кто-то мурлычет себе под нос песенку. Вон на берегу лес, дальше поля, изгороди, а там крошечная безыменная деревенька приткнулась на высоком берегу, на самом юру и весело смотрит под гору, где под кручей вереницей бегут коломенки.

— А есть на Чусовой еще такие места, как Молоков с Разбойником? — спрашивал я у Ильи.

— Таких-то нет, а около того попадаются... Сплавщик с Дружным, Печка с Высоким: одна у них музыка-то, пожалуй. Ничего, хорошие, веселые бойцы!..

Если в горной части Чусовой можно встретить разбитые барки, то ниже Камасина начали попадаться барки обмелевшие. Кое-где они снимались с огрудков, как и мы у Камасина, другие совсем обсохли и стояли наполовину в воде без всяких признаков жизни. Рабочие ушли, а груз караулили одни водоливы.

Остальной наш путь, кроме исторических воспоминаний, не представлял ничего особенного. Попало несколько сел, которые красовались на высоком берегу, а там — или луга, или лес. На всем пути от Камасина до Перми, чуть не на трехсотверстном расстоянии, стоит всего одно селенье, это — Верхние и Нижние Чусовские Городки, которые имеют для настоящего времени только исторический интерес, как одно из первых русских поселений на Чусовой.

...На четвертый день мы благополучно привалили в Пермь. Здесь, на пароходе, сидя в общей каюте второго класса, я долго перебирал впечатление тревожного пути по Чусовой. Только испытавши все опасности сплава на барке, настоящим образом оценишь все удобства путешествия даже на самом скверном пароходе.

ЛЕГКАЯ РУКА

Этюд из жизни среднего Урала

I

Несколько лет тому назад, в начале августа месяца мне приходилось из одного уральского горного завода проехать в Пермь. Нужно было проехать верст триста по Гороблагодатскому тракту, который в десять раз хуже получившего такую громкую известность Сибирского. В довершение всего стояла отвратительная ненастная погода, которая заставила моего компаньона отказаться разделить со мной этот трудный и тернистый путь. Счастливый случай неожиданно выручил меня: в единственной заводской лавочке с красным товаром и бакалеями получаю приятное известие, что Прохор Данилович Барашков «едут» в Нижний. В округе …ских заводов Барашков пользовался громкой известностью как самый крупный коммерсант. У него было до пятнадцати лавок с красным товаром и около тридцати кабаков. Пятидесятитысячное население …ского горного округа отлично знало Барашкова, потому что любую половину своих заработков рабочие несли к барашковским приказчикам. Кроме своего богатства и так широко раскинутой сети кабаков и лавочек, Барашков пользовался громкой известностью как неутомимый делец, оригинал и особенно как человек, который на настоящую высоту поднялся из мужиков. Как случилось последнее — ходили самые темные слухи: рассказывали о краденом золоте, о таинственном убийстве, даже о каком-то кладе, но вернее всего, что Барашков нашел свой клад за кабацкой стойкой. История не новая и слишком известная на Руси; но ведь одно дело — нажить капитал, а другое — уметь им распорядиться. Барашков был неутомим и просто поражал своей изумительной деятельностью: его кожаная повозка только и делала что каталась от одного завода к другому, так что рабочие знали не только эту повозку и кучера, но даже всех лошадей, богатую сбрую на них и пару звонких валдайских колокольчиков под дугой. У Барашкова было на заводах несколько каменных и деревянных домов,

но в них он был только наездом настоящую резиденцию имел где-то на р. Чусовой, где у него на Дарьинской пристани был целый деревянный дворец. Рассказывали, что Барашков живет на своей пристани князь-князем.

— Вам уж придется проехать на Дарьинскую пристань, — говорил мне разбитной барашковский приказчик. — Прохор Данилыч до Кына поплывут на своей лодке по Чусовой, а от Кына до Перми — на почтовых.

— А если Прохор Данилыч не возьмет меня? Ведь он не один поедет на лодке?

— Нет, как же можно-с, чтобы одному… Из приказчиков человека три-с и обережной. Только вы не сумлевайтесь: места всем хватит.

Нужно было проехать до Дарьинской пристани верст тридцать, и я на другой день подъезжал к ней. Пристань издали представляла такую картину: Чусовая красивым извивом огибала отлогий мыс, по которому вытянулись в несколько правильных улиц домишек двести; направо виднелись скученные здания караванной конторы …ских заводов, шлюзы, в которых стояло несколько строившихся барок и пильный завод, а налево, у самой воды стоял громадный дом с железной зеленой крышей — это был дворец Барашкова. Чусовая течет здесь в крутых гористых берегах, покрытых сплошным сибирским дремучим лесом; вид на реку, на громоздившиеся вдали горы, наконец на самую пристань был очень красив и оригинален. Дарьинцы славятся как самые лучшие бурлаки по всей Чусовой, а дарьинские сплавщики ценятся чуть не на вес золота. Читателя может ввести в заблуждение слово «бурлак», потому что между волжским бурлаком, который когда-то на лямке подымал суда вверх по реке, и бурлаком чусовским, который никогда не бывал на лямке, а только плавает на барках вниз по реке — неизмеримая разница. Тип чусовского бурлака не только не имеет ничего в себе придавленного или забитого, а напротив, поражает своей смышленостью, разбитным бойким характером и красивой наружностью. Причины последнего обстоятельства нужно искать, конечно, в экономическом положении населения верхних чусовских пристаней и отчасти в истории. Первые поселенцы Дарьинской пристани были беглые раскольники, которые толпами бежали на Камень от никоновских новшеств, нещадных правежей князя Ромодановского и завистников времен Петра; здесь же нашли себе приют сибирские беглые и разный сброд, известный под собирательным именем «не помнящих родства». Старая вера свила много теплых гнезд по берегам Чусовой и чусовляне слывут на Урале как самые закоснелые кержаки.* Барашков тоже

* Кержаками на Урале зовут вообще всех староверов, потому, вероятно, что большинство их явилось на Камень из разоренных керженских скитов. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка).*

придерживался древнего благочестия, хотя и не соблюдал всех его правил: пил и ел с бритоусами и табашниками, одевался в европейское платье и т.д. Поселенцы на пустынных берегах Чусовой освоились с быстротой истинно русских людей и зажили припеваючи, благо в лесу много было и зверя и птицы, в воде — рыбы, а весенний и меженный (летний) сплавы барок дают работу тысячам рук. Благодаря своему выгодному географическому положению, чусовские староверцы меньше других страдали от пастырской ревности православных миссионеров и цивилизующего влияния казацких нагаек, исправников доброго старого времени.

— Вон и посудинка у Барашкова налажена, — говорил мой кучер, указывая кнутовищем на причаленную к берегу небольшую барку с оригинальной палаткой из разноцветных полос материи. — Ишь ты, чего придумал. И глаз наладил, все равно как на казенке.

Из середины пестрой палатки поднималась высокая мачта, оканчивавшаяся наверху чем-то вроде распушенного павлиньего пера: это был «глаз», который выставляется на всех «казенках», т.е. барках с каютами, в которых плавают караванные приказчики. Из-под «глаза» с мачты спускался длинный флаг, теперь совсем мокрый, висевший около древка, как отшибленное крыло птицы. Палатка барашковской казенки была устроена с большим шиком и пестрела всеми цветами радуги: красные, синие, желтые и зеленые полосы материи подымались от бортов высоким коником; впереди были устроены на деревянных стойках дверцы, задрапированные такими же цветными полосами. Издали, на сероватом фоне воды, казенка Барашкова приятно для глаз разнообразила картину реки.

— Вона, чего народу-то понаперло, — говорил кучер, кивая головой в сторону барашковских палат, у ворот которых толпилась пестрая кучка мужиков, баб и ребятишек. — Это все Барашкова пристановляне собрались провожать. Ведь они живут за Барашковым-то все равно, как тараканы за печкой. За всякой малостью к нему ползут. Вся пристань у него в лапах, как в неводу рыба, — прибавил мой возница, почесывая затылок и, вероятно, припоминая собственные долги в каком-нибудь барашковском кабаке.

Стоявшая у ворот толпа почтительно дала дорогу моему экипажу, вероятно принимая меня за одного из барашковских молодцов. Некоторые даже сняли шапки. По широкому двору с новеньким деревянным полом весело бегал мальчик лет двенадцати, с бойким плутоватым лицом. Судя по бархатной поддевке и синей шелковой рубашке, можно было заключить, что это был хозяйский сынок, Барашков-фис. Около него галдела пестрая толпа крестьянских ребятишек, которые усердно таскали друг друга за волосы и устраивали «куча-мала» за каждый пряник, который бросал им маленький Барашков. Дворец Барашкова

был сгорожен из отличного соснового леса в два этажа с вышками и «галдарейками», с отличными службами и целым рядом хозяйственных пристроек; стоило затворить ворота и дворец превращался в такую крепость, которую кроме огня, кажется, ничем не возьмешь. Каменные амбары с железными дверями составляли исключение в этом деревянном складе: они очевидно были предназначены для хранения товаров. Мы уже сказали, что дом Барашкова был покрыт железной зеленой крышей, такими же крышами были покрыты и все другие пристройки и широкие навесы около них; зеленой же краской были выкрашены все столбы во дворе, ворота, косяки у дверей, перила и ставни. Крытая стеклянная галерея вела со двора во второй этаж, где собственно жил сам Барашков. Начиная с нижней ступеньки этой галереи все в доме было покрыто какой-нибудь краской, не оставалось, кажется, нигде ни одного живого, не замазанного места.

— Они у себя в кабинете, — почтительным шепотом докладывал вероятно один из барашковских приказчиков, одетый в черный сюртук и красную шелковую рубашку; несколько таких же молодцов попались мне в галерее и передней, — все они, уничтоженные присутствием «самого», не надевали шапок даже во дворе и вытягивались в струнку при каждом шорохе.

Барашков, очень высокий и очень толстый господин, с одутловатым красным лицом и маленькими свиными глазками, сидел в глубоком кресле у письменного стола, когда я вошел в кабинет. Его массивная фигура была облечена в широкий халат из синего бархата с серебряным шитьем по краям пол. Одной из странностей Барашкова было то, что он имел обыкновение встречать своих гостей не в сюртуке, а в халате. Я был немного знаком с ним ранее и объяснил в коротких словах причину своего посещения.

— С большим удовольствием, — проговорил Барашков немного хриплым баском. — Место будет в каюте… Эй, Гаврилыч, вот ихний багаж вели снести на барку, — распорядился Барашков, обращаясь к стоявшему у дверей в почтительной позе сгорбленному старичку. — Мы пообедаем, а потом и в путь… Еще бы часика два, и вы не застали бы, пожалуй, а теперь ваше счастье. Отлично доплывем… До Кына лучшие места на Чусовой, — хоть картину рисуй. Только вот ненастье зарядило, так, пожалуй, ничего не увидим.

Барашков посмотрел на свои пухлые красные руки с короткими пальцами, унизанными целой коллекцией массивных перстней, и слегка наморщил узкий, заросший густыми волосами лоб. Перед ним на письменном столе лежали развернутые торговые книги, и поэтому я попросил продолжать прерванную работу.

— Я сейчас… Вот только тут напутано у приказчиков, так нужно разобрать всю городьбу, — объяснил Барашков. — Ведь за ними глаза

нужны, а то, того гляди, по миру пустят… Гаврилыч, ведь пустишь хозяина в одной рубашке?.. А?..

— Помилуйте, Прохор Данилыч, да лопни мои глаза… да вот сейчас с места не сойти, ежели я из хозяйского добра хоть одну порошину…

— Ладно, ладно, не заговаривай зубов-то! А вон и Анфиса Клементьевна, — проговорил Барашков, когда в комнату вошла средних лет женщина купеческого типа — белая и рыхлая, с поблекшими глазами и черными испорченными зубами. — Вот займи, пожалуйста, гостя, пока я с Гаврилычем рассчитываюсь… Закусочка там где-то была!..

Анфиса Клементьевна пригласила меня «откушать водочки» в гостиную. Когда мы прошли несколько комнат, издали донесся неистовый крик Барашкова, который рассчитывался теперь с Гаврилычем; мне не случалось слыхать такого крика, — он переходил в патетических местах просто в какой-то визг. Только одни лошади, под влиянием нестерпимой боли, в состоянии производить такие страшные звуки.

— С этим народом ведь нельзя иначе, — лениво объяснила Анфиса Клементьевна. — Смотреть на Гаврилыча, так угодник угодником, а Прохор Данилыч стали его подсчитывать — целой штуки миткалю и не хватает…

Комнаты в доме Барашкова были убраны с истинно азиатской пестротой и скорее походили на мебельный магазин по обилию всякой мебели. Стены были раскрашены трафаретом, — в одной из комнат по синему полю шли розовые и зеленые узоры, в другой — по зеленому, в третьей — по красному; потолки и печи постигла еще более печальная участь: печки были расписаны на манер татарских халатов или китайчатых бабьих сарафанов, а на потолках помещалась целая овощная лавка из неизвестных ботанику растений, цветов и плодов. На маленьких окнах, задрапированных белыми кисейными занавесками, красовалась неизбежная герань, петухи и даже турецкий стручковый перец; тут же скромно поместились ведерные бутыли с наливками на рябине, смородине, княженике, вишне и т.д. Всего интереснее было то, что в передней, на покрытом лаком полу, лежала простая мочальная рогожка.

— Ну, я кончил, — заявил Барашков, когда расчет с Гаврилычем был кончен. — Задал я ему баню. Ведь вот, подумаешь, какая в людях благодарность может быть: из грязи, из нищеты человека взял, обул, одел, кусок хлеба дал, так он же меня и надувать вздумал… И все они на одну колодку сделаны!.. Теперь пообедаем и — в путь.

К обеду вышла высокая красивая девушка, дочь Барашкова; она, как и мать, была одета в шелковое платье, волосы были гладко зачесаны наперед и собраны в голубую шелковую сетку. Сын Барашкова сидел по правую сторону родителя. Обед был приготовлен на славу, но Барашков имел несчастную привычку душить своих гостей дорогими винами. В

соседней комнате толпились приказчики, которые не смели садиться в хоромах хозяина вообще, а когда он обедал — в особенности.

— Хочется вам жить в такой глуши, — говорил я Барашкову, когда подали уху со свежими харюзами. — Отчего вы не переселитесь совсем куда-нибудь на заводы?

— Мне и здесь хорошо… Да и привык, признаться сказать. Ведь я пристанской уроженец. Здесь и вырос, и на барках бурлаком ходил… Да, да. Не в бархате воспитание получил, а у поносного. Вот и не хочется с Чусовой расставаться: все тебя здесь знают, каждое дерево, каждый камень — как родной брат.

— Я давно ему говорю, чтобы уехать отсюда, — вставила свое слово Анфиса Клементьевна. — Живем, можно сказать, как в медвежьем углу… А вот Марфинька уж большая девушка, сын подрастает.

— Ум будет, так и здесь проживут, а без ума в городе-то скорее пропадешь, или на заводе, — оппонировал Барашков, высасывая рыбью голову.

— У тебя всегда одна песня.

Сейчас после обеда мы отправились к барке. Порядочная толпа народа встретила Барашкова без шапок и глухо загудела: «Скатертью дорога, Прохор Данилыч… В добром здоровье бы съездить! Пошли ты милосливый Господи»…

— Спасибо, братцы, — коротко поблагодарил Барашков.

В каюте было уже все готово, и посредине стоял накрытый белой скатертью стол, на котором красовалась целая батарея бутылок. Жена и дети проводили Барашкова на барку. Около стен каюты были устроены широкие лавки, которые могли служить и кроватями. Мой багаж лежал под одной из таких лавок. Приказчики по-прежнему без шапок бегали и суетились, как гончие собаки; только старший приказчик, степенный черноволосый мужик, Лазарь, держался солидно и с достоинством.

— Ну, теперь по христианскому обычаю, надо присесть, — говорил Барашков, наливая рюмки.

Мы разместились на лавке; приказчики сжались в одну кучку и почтительно покашливали. Гаврилыч смиренно выглядывал из-за других спин.

— У меня во всем слушать хозяйки, — приказывал Барашков. — А ты, Лазарь, смотри: не догладишь оком, заплатишь и боком. Гаврилычу в последний раз спущаю, не хочу в путь-дорогу с тяжелым сердцем ехать, только у меня чтобы впредь…

— Ах ты, Господи милосливый… да разрази меня сейчас на месте!.. Лопни мои глаза, ежели для… — Гаврилыч не мог подобрать достаточно сильных выражений, чтобы высказать всю свою преданность хозяину.

Выпили по три рюмки и начали прощаться. Барашков громко поцеловал сына и, передавая его матери, проговорил:

— Смотри, береги Гришутку, как свой глаз…

Шесть человек сидели в передней части барки за веслами. На корме у руля стоял обережной Барашкова, плечистый мужик с рябой хитрой рожей. Когда жена и дети Барашкова вышли по сходне на берег, барка медленно отвалила, и с берега глухо грянул пушечный выстрел… другой… третий. Громкое эхо прорезало воздух, отдалось у противоположного крутого берега глухим гулом и с рокотом понеслось вниз по реке. Барка с легким покачиванием тихо скатывалась вниз по реке. Пристань постепенно скрывалась из виду вместе с деревянным дворцом Барашкова с кучами народа около стрелявших нам вдогонку пушек.

От Дарьинской пристани до Кыновского завода по Чусовой считается верст семьдесят. Мы отплыли уже под вечер, а к утру Барашков обещал быть в Кыну. Дождь, который шел с короткими промежутками в течение нескольких дней, стих, и небо начало проясняться. Но солнца нам не пришлось видеть — его заслоняли высокие лесистые горы, между которыми проложила свой опасный и живописный путь Чусовая. Мне давно хотелось побывать в этой именно части реки, где она, по выражению бурлаков и Барашкова, течет «в камнях», скалы и горы они называют безразлично камнем, как в старину целый Уральский хребет назывался Камнем.

Наша барка плыла вниз по реке довольно быстро, потому что шесть человек бурлаков работали длинными веслами очень усердно. Барашков иногда выходил к ним и глазом специалиста следил за работой. Он раза два сам садился к «ухвату», чтобы показать одному молодому бурлаку, как нужно владеть веслом.

— Уж Прохор Данилыч у нас одно слово… — восторгались приказчики. — Кажется, все умеют сами делать.

Самую интересную часть реки нам пришлось проплыть ночью. Наша барка часто проходила под отвесными скалами сажень в шестьдесят высоты. При освещении молодого месяца и ярких северных звезд все кругом принимало самые фантастические формы и очертания. Казалось, что барка плывет под стеной какой-то гигантской крепости с полуразрушенными бастионами и амбразурами; иногда вставали перед глазами развалины какого-то замка с готическими башенками, причудливыми узорами и стенами, с полуразрушенным подъемным мостом. Стройные силуэты елей красиво выделялись на этих каменных глыбах, размытых водой. Деревья цеплялись корнями за выступы камней и часто совсем висели над водой. При неверном освещении месяца ели принимали вид живых людей: вот, например, на выступе скалы положительно сидит сгорбленный старик; он свесил ноги и внимательно смотрит на реку; в другом месте собрался на небольшой площадке

целый девичий хоровод; там, в ущелье притаилась группа разбойников. С каждым шагом вперед развертывалась одна картина за другой: то высыплет несметной ратью к самой реке дремучий сибирский лес; то река заблестит стальной чешуей под синевато-серебристыми лучами месяца; то повиснут над самой головой воздушные замки и сказочные дворцы. Посмотришь кверху на такую скалу, и даже сердце сожмется от страха: кажется, вот-вот сорвется вся эта масса известняка и раздавит нашу барку, как скорлупу. Река как-то особенно глухо бурлит в таком месте; малейший звук усиливается отражением от скалы и переходит в эхо; шум от весел производил такое впечатление, как будто по реке плыло какое-то сказочное чудовище, усиленно разгребавшее воду своими могучими лапами. В некоторых местах, на самом верху скал стояли покосившиеся деревянные кресты.

— Это по убившимся баркам бурлаки ставят кресты, — объяснял Барашков, снимая фуражку и откладывая широкий крест на своей могучей груди. — Много по этим местам бурлачков перетонуло… Ни одна барка без того не убьется, чтобы кого-нибудь не порешило: одного расшибет о камень, другого срежет снастью, третий сам потонет. Бывали такие сплавы, что человек сто погибнет бурлаков. Ведь вот теперь она, Чусовая-то, што-нешто переливается, а в полую воду разыграется, так все равно зверь, так на камни и кидается. Бежишь это на коломенке — небо с овчинку, только и молишься про себя: «Донеси, Господи, в живности». Бедовое дело! Теперь по весне каждый год я сплавляю барок пять с пшеницей, а каждая барка — пятнадцать тысяч пудиков, говорят. Убьется этакая машина — вот и петля на шею: тысяч десять как в печку бросишь.

— Разве нельзя достать пшеницу из воды?

— Можно-то, можно, только ведь она мокрая, надо ее сейчас сушить, надо людей, а где их скоро-то найдешь? Пока там что, день-два прошло, она и слежалась, а потом начнет преть, прорастет — так и бросишь все. Даже котина и та не будет ее есть. Жалость смотреть, когда она, кормилица наша, гниет, вот этак на бережку, гора-горой. Ведь легко сказать: пятнадцать тысяч пудов. У меня в третьем годе убилась одна барка с пшеницей.

У нас в каюте несколько раз появлялся на столе кипевший самовар, что ночью, на воде имело свою прелесть. Приказчики теперь осмеливались уже сидеть в присутствии хозяина и усердно пили чай. Барашков был в хорошем расположении духа и рассказывал разные эпизоды из своих путешествий по Чусовой, но между разговорами он чутко ловил ухом каждый звук, доносившийся от бултыхавших в воде весел.

— Дремать начинают мои бурлачки, — говорил Барашков, наводя ухо, — вишь как рознят веслами-то, точно бабы на плоту с бельем плывут. Эй, Вася, — обратился он к одному из приказчиков, молодому белокурому парню с румяным лицом, — надо разбудить гребцов-то.

— Слушаю, — с почтением ответил Вася и сейчас же вышел из каюты.

Скоро ночной воздух точно дрогнул, и по реке прокатился заунывный мотив русской песни с ее хватавшими за душу нотами.

На заре то было, да на утренней,
На восходе-то красна солнышка, –

пел Вася, приложив руку к щеке и закрыв глаза. Барашков подтянул хриплым баском эту бурлацкую песню, приказчики и бурлаки-гребцы подхватили, и песня полилась широкой волной. Мне никогда не случалось испытывать ничего подобного: только среди этой угрюмой северной природы, среди этой чудной осенней ночи можно понять неотразимо чарующую поэзию русской проголосной песни. Хочется заплакать, и вместе — как жутко хорошо на душе. Горы, лес, река — все осветилось каким-то другим смыслом: это не были неодушевленные предметы, нет, это были только звенья той вселенной, которая, по словам Гейне, родится и умирает с каждым человеком. Песня не словами, а мотивами рассказывала про мудреную жизнь русского человека, про его микроскопические радости и великое горе, про эту вековую борьбу с силами природы, про длинную цепь исторических неудач и страданий. Казалось, что самая барка встрепенулась под чарующими звуками песни и бодрее плыла вперед; чувствовалось, как она вздрагивала под дружными ударами весел проснувшихся бурлаков. Барашков сидел у стола и, положив свою большую голову в ладони рук, жадно всматривался в стынувшие переливы лившейся песни, которая, вероятно, напоминала ему и его собственную бурлацкую жизнь, когда он получал образование у поносного, и тот тернистый путь, каким он добился своего настоящего положения.

Песня разжалобила Барашкова, и он долго рассказывал о том, как ему было трудно сначала «встать на ноги».

— Говорят там, что вот этот умен, другой умен, от того де и богат, — говорил Барашков в раздумье, — а по-моему, так то все пустяки… Умом, как горбом, немного возьмешь!..

— А чем можно взять?

— Да как вам сказать… Бурлаки, вон, говорят, надо легкую руку иметь, тогда богат будешь.

II

Нынешним летом, проезжая по Уральской железной дороге, на одной из станций между Кутвой и Екатеринбургом, где поезд остановился минут на двадцать, я вышел на платформу, чтобы освежиться после долгого сидения в душных вагонах. Станция была чистенькая и но-

венькая, как сейчас снесенное яичко. Чистенький палисадник, красивые клумбы только что разбитого цветника, великолепная панорама на тянувшиеся невдалеке Уральские горы, наконец, красивая картина большого селения, раскинувшегося в нескольких десятках сажень от станции, — все это придавало такой хороший вид станции. В двух шагах от меня какой-то предприимчивый седой старик усердно городил из старых бревен и досок маленькую лавчонку. Я издали полюбовался на этого строителя, который с такой ловкостью и проворством втаскивал доски на крышу и со сноровкой настоящего плотника прокидывал их одна к другой и звонко вколачивал гвозди. Внутри лавчонки уже шла торговля: пряниками, колбасой, хлебом, табаком и другими мелочами. Молодой человек с красивыми заспанными глазами лениво и нехотя удовлетворял торопливые требования суетившейся публики. Ему было очевидно тяжело справляться после вчерашнего похмелья. Я подошел к строившейся лавочке и смотрел на толстого старика, который в старенькой ситцевой рубашке и в новых тиковых штанах, заправленных в худенькие смазные сапоги, бойко хлопотал возле своей постройки. Заслонив глаза от солнца короткой волосистой рукой, старик посмотрел в мою сторону, очевидно любуясь оживленным видом станционной платформы; взглянув на него, я сразу узнал Барашкова. Да, это был он, знаменитый Прохор Данилыч, с которым когда-то я плыл по Чусовой: только как он поседел! Вся голова белая; эта старческая седина смягчила выражение его лица, которое казалось таким довольным и счастливым.

— Здравствуйте, Прохор Данилыч, — проговорил я, немного сомневаясь в своем открытии.

— Здравствуйте… Узнали?

— Да.

— Меня нынче плохо что-то добрые люди узнают, — проговорил Барашков, здороваясь со мною. — А все благоприятели были, други закадычные… Становой, мировой судья, управители, заводские служащие — даже отворотятся, чтобы не заметить старика Барашкова!.. Да, стыдятся… Что же, я не ропщу, нет, не ропщу… Они, ведь, не со мной раньше здоровались, а с моими деньгами! Господь с ними со всеми… А мы, кажется, с вами по Чусовой плыли? Да?.. Тогда вы еще в моем дому были…

По загорелому красному лицу Барашкова скользнула легкая тень.

— Как это вы, Прохор Данилыч…

— Как я раззорился? — договорил мой вопрос Барашков уже с веселой улыбкой. — А вот учитесь у меня, батенька, как на свете жить… Был я богат, тысяч за сто наличными деньгами было, а теперь вот эта лавчонка, да и та в долг. Господь посетил… На старости лет испытание послал… Да… Видите ли, в году стояла очень высокая вода в Чусовой,

а у меня восемь барок с пшеницей… Ждал, ждал, уж и первое мая прошло, народ начинает ругаться, как раз обмелешь со своей пшеницей на целый год. Ну, перекрестился, да и велел отваливать… Что бы вы думали: одна барка под Молоховым бойцом разбилась, две — под Разбойником, две обмелели у Кумыша — понимаете, сразу зарезало. Хорошо… Ну, думаю, туго теперь придется тебе, брат Прохор, ежели кабаки не вывезут. А тут, как на грех, из моих же целовальников в люди вылез Горшков, взял да у обществ по заводам кабаки и забрал. Известное дело: кое-где смазал, где скрипело, кое-где похлопотал, старичкам водочки выставил — ну, оставил меня на бобах, потому что я время упустил… Остались деньги в товаре, по лавочкам, а приказчики тоже охулки на руку не положили: у одного недочет, у другого — вдвое, третий просто украл… Нужно сказать, что я и сам виноват: позамотался немного, запустил дело. Стал жить на заводе N на широкую ногу: сегодня гости, завтра — вдвое, там именины; так колесом и пошла работа. Карточки, водочки, хорошие други-приятели, оно и незаметно, как время-то летело, а приказчики тем временем дуют да дуют. Тут дочь замуж выходила, месяца два кружились да хороводились.

Барашков несколько секунд помолчал.

— Да и как меня дурака не учить было хоть тем же приказчикам? — с печальной улыбкой заговорил Барашков. — Ведь все, почитай, или сироты, или из бедности взяты… Поил, кормил, в люди вывел… Слепоту Господь послал на меня. Неужто, думаю, за мое-то добро они зорить меня станут. Ведь есть же душа в человеке, совесть. Помните Гаврилыча, Васю, Лазаря? Все теперь богато живут, торгуют по заводам… Да; я вам стал рассказывать, как у приказчиков недочеты пошли. Вижу, кругом меня надувают, в глаза обманывают. Обидно мне это стало, а как им попуститься за здорово живешь: жаль тоже своего добра всякому, а тут последне оставалось. Нашелся добрый человек, который посоветовал судиться с приказчиками. А как связался я с адвокатами — кончено, все водой ушло. Обмелел, как старая барка. Адвокаты слопали остальное: помните дом-то на Чусовой, — вот я его и стравил этим адвокатам. Ничего, скушали и спасибо не сказали.

— Как у меня ничего не осталось в кармане, — продолжал Барашков после короткой паузы, — тут и людей около меня совсем не стало. Один, как в пустыне какой. А тут жену параличом хватило. Не перенесла, бедная!.. Я-то мужик, в лаптях хаживал у поносного; ну, погоревал, а все-таки скрепился сердцем; думаю, надо же жить, а не околевать с голоду, а ей, жене-то, не в привычку бедность-то… Помаялась, помаялась, а потом и прибрал Господь. Одна беда не приходит. Ну, остался я один с детками; дочь замужем, сын на возрасте. Только ведь дочь — отрезанный ломоть: поплачет, потужит, а родня у ней от меня, как от чумы — думают, буду у них на шее жить. Сын… да вон видали, каков

он у меня. Ох-хо-хо! Вот это уж хуже всякой бедности, а главное, своя вина. Избаловался парень, а как пришлось нужды отведать, он с горя запивать стал. А мне все не хочется пропадать… Были кой-какие старые должишки по заводам, надо было их собрать, а ехать не на чем. Ей-богу!.. Есть нечего стало, не то что на лошадях ездить. Хорошо. Сделал себе котомочку, как прежде, когда в бурлаках хаживал, да с палочкой и отправился по заводам пешечком. Походил я таким манером месяца с два, да толку мало: богатого мужика дома нет, а у бедного взять нечего. Поверите, так случилось: изморишься до смерти, а мои бывшие приказчики поглядывают да посмеиваются, и ни одна шельма чайку напиться не позовет! Вот до чего дело дошло. Так уж кое-где перебивался: по попам да по служащим, те еще по старой памяти принимали.

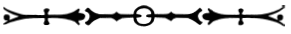
— А теперь как же вы?

— А вот видите: лавочку загораживаю, тут же у меня и квартира. Да. На две половины. Хо-хо… Только вот зимой не знаю уж как жить придется. Ну, да ведь не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Раздавшийся звонок прекратил наш разговор, и Барашков долго провожал меня глазами. Когда я выглянул в окно вагона, он весело крикнул:

— У меня, ведь, легкая рука; устроюсь помаленьку.

ВАРИАНТЫ



«В худых душах….»
Башка
Косточки хрустят…
На шихане
Лётные
Бойцы
Золотуха
Поправка доктора Осокина
Первые студенты
Узелки
Родительская кровь
Лес
Толстушка

«В ХУДЫХ ДУШАХ....»

Рукопись на 18 листах, не датирована, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 13). Первая публикация в журнале «Вестник Европы» 1882, № 12, с. 559–582; подзаголовок «Люди и нравы в Зауралье», подпись «Д. М-ин». В печатных изданиях приведена стилистическая правка и небольшие сокращения. Ниже приводятся разночтения с рукописной редакцией

Стр. 9 (12 строка сверху). Вместо слов: Важное село, — говорил, любуясь Евмен... // Баское село, — любовался Евмен...

Стр. 12 (строки 18–20 сверху). Вместо слов: Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то. — Кого? // Теперь где-то в Полому уехал, нигилиста ловят. — Какого нигилиста?

Стр. 12 (строки 21–23 сверху). Вместо слов: Ну, там где-то в Москве обучался. Только это так... он совсем ничего, а это Прошка придумал // Ну там где-то в наверситете обучался, а теперь его всей деревней ловят. Только это так... он совсем и не нигилист, а это Прошка придумал.

Стр. 12 (строка 25 сверху). Вместо слов: ...стопкой лежали подобранные номера газеты // ...стопкой лежали подобранные номера «Нового времени».

Стр. 12 (2 строка снизу). После слов: ...осторожно оглядевшись кругом, таинственно проговорила:

— Ведь Кинтильян-то в нигилистах был да и Аню сманил...

Стр. 14 (строки 13–14 снизу). Вместо слов: Там ведь, в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ живет // Там, ведь, в вашем Петербурге безголовый народ живет...

Стр. 18 (строки 12–13 снизу). Вместо слов: …осветил лицо старушки; оно было теперь серьезно и печально // …осветил дряблое лицо старушки; оно выглядело теперь серьезно и печально.

Стр. 24 (строки 17–18 снизу). Вместо слов: …я тридцать лет пред престолом Божиим возношу молитвы… // …я тридцать лет пред престолом Божиим возношу молитвы за государя…

Стр. 24 (строки 9–10 снизу). Вместо слов: Ведь я против Бога иду, что такого сына пожалел… // Ведь я против Бога иду, что преступного сына пожалел…

Стр. 27 (строки 12–13 снизу). Вместо слов: …что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда // …что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда, в той стороне, где на собаках ездят.

БАШКА

Рукопись на 23 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 20), датирована «5 сентября 1884 г., Екатеринбург». Подпись: Д. Сибиряк. Первая журнальная публикация: «Русская мысль», 1884, № 11, с. 42–75. Ниже приводятся все разночтения с текстами журнальной публикации (ЖР) и рукописной редакции (ГАСО).

Стр. 46 (2-й абзац снизу). Вместо слов: — Ежели бы ты блаженный был… // — Ежели бы ты блаженненький был… (ЖР)

Стр. 52 (начало 3-го абзаца) Перед словами: В жизни башки был один ничем необъяснимый пробел…:

— Что воспитание! Это только частица громадного органического целого, — рассуждал Башка. — Все мы только мышей ловим…Ха-ха-ха!.. Богатырь Святогор говорил: «Тяжело от силушки, как от тяжелого бремени…» Ты и разумей. (ЖР)

Стр. 52 (там же):

Монастырь, каторга, сумасшедший дом, кабак — вот где кончали свое бурное существование подобные «взыскующие и не обретающие града» люди. Нелепейшая система воспитания первых учеников кладет на них роковой отпечаток, подрывая в основании нормальное развитие характера и воли: все наши заведения непременно и напрерыв вырабатывают один и тот же роковой тип «башки», который губит самые лучшие силы.

— Что воспитание — это только частица громадного органического целого, — рассуждал Башка. — Все мы только мышей ловим…Ха-ха-ха. Богатырь Святогор говорил: “Тяжело от силушки, как от тяжелого бремени”… Ты и разумей.

Для Башки обыкновенное прозябание обыкновенных людишек являлось тем же, если бы великого виртуоза и маэстро par excellence приглашали самым вежливым образом принять деятельное участие в кошачьем концерте. (ГАСО)

Стр. 52 (конец 3-го абзаца) После слов: … частенько подумывал о монашестве // …частенько подумывал о монашестве, даже, наверно, ушел бы в монахи давно, если бы не боялся окончательно спиться с кругу. (ГАСО)

Стр. 53 (2-й абзац сверху). После слов: … заражавшая публику своим веселием…:

приковывавшая к своему молодому, полному жизни телу с цветущими формами самые горячие желания публики, а теперь…(ГАСО)

Стр. 53 (конец 2-го абзаца). После слов: …а содержание улетучилось:

Дальше Башка видел Фигуру девочкой-подростком, беленькой, розовой, чистой, с ленточкой в волосах и опять ненавидел настоящую Фигуру, которая заражала своим дыханием подвал, в котором жила. (ГАСО)

Стр. 57 (конец 1-го абзаца). После слов: …подзадорить щелкавших зубами завсегдатаев:

Положение, вообще, было не из красивых. (ЖР)

КОСТОЧКИ ХРУСТЯТ…

Первоначальное название очерка «Отрава». Рукопись на 24 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 28). Жанровый подзаголовок «Очерк»; датировка отсутствует. Текст рукописи близок к печатному тексту. Другая рукопись с тем же названием представляет собой черновой вариант начала рассказа (хранится в РГАЛИ, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 20). Первая публикация в журнале «Русская мысль», 1887, № 11, с. 1–34; подпись: Д. Сибиряк. Приводим разночтения основного текста с рукописной редакцией (ГАСО).

Стр. 63 (последний абзац). Вставка после слов: … ушла наконец в стряпки к писарю Антонычу:

Пьяный писарь тоже бил ее насмерть, но Евлаха утешалась каждый раз тем, что возьмет да и «уйдет на все четыре стороны» и что «никто ей не указ».

Стр. 67 (строки 18-19 снизу). Вместо слов: Вахрушка повернулся в мою сторону и, откладывая пальцы на левой руке, заговорил с новым азартом // Вахрушка даже подскочил на месте и, откладывая пальцы на левой руке, заговорил с новым азартом.

НА ШИХАНЕ

Рукопись хранится в ГАСО. Датируется 1881 г. В рукописи отсутствует концовка печатного рассказа. Первая публикация с подзаголовком «Из записной книжки охотника» в журнале «Вестник Европы», 1884, № 10, с. 777–796; подпись: Д. Мамин. Известен сокращенный вариант рассказа под другим названием «Савка: Из записной книжки охотника» (Киев, 1886). Ниже приводятся все разночтения основного текста, входящего в цикл «Уральских рассказов», с первоначальным рукописным вариантом (ГАСО).

Стр. 118 (1-й абзац). Добавление после слов: …хотя в специально-заводском деле ничего не смыслил:

и называл чугун «сигун», а железо «желёза».

Стр. 121 (строка 11 снизу). Вместо слов: — Да ты что больно зудишь? // — Да ты что больно зудишь, кила?

Стр. 121 (строки 3–4 снизу). Вместо слов: «…будет тебе зудить-то!» // «…будет тебе зудить-то, кила!..»

Стр. 126 (конец 1-го абзаца). После слов: Он являлся настоящим хозяином в лесу:

…который служил неистощимым источником для новых наблюдений. Кроме этого, вся природа Савки олицетворялась в целом ряде таинственных деятелей, в которых он глубоко верил, причем лесной (он же некошной и лешак) и водяной являлись прежде всего.

Стр. 130 (строки 10–11 сверху). Вместо слов: «Наше дело… мы убили купца. Простите!» // «Наше дело… мы убили купца. Простите, православные…»

ЛЁТНЫЕ

Рукопись на 43 листах, с подзаголовком «Из летних рассказов», хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 19). Черновые варианты глав 5–10 находятся в РГАЛИ (ф. 316, оп. 1, ед. хр. 10), датируются 1885 г. Первая журнальная публикация: «Наблюдатель», 1886, №№ 2, 3. Ей предпослан подзаголовок «Из рассказов о жизни сибирских беглых»; подпись: Д. Сибиряк. Ниже приводятся разночтения основного текста с первым журнальным вариантом (ЖР) и рукописной редакцией (ГАСО).

Стр. 139 (после 2-го абзаца). Вставка:

— Эх, места-то, места сколько… — повторял с каким-то сожалением Иосиф Прекрасный, в котором сказывался великорусский пахарь. — Не то, что в нашей нижегородской губернии… кошку за хвост повернуть негде. Тут помирать не надо: во какие луга-то…

Татарский остров получил свое название в темные времена башкирских бунтов, когда на нем отсиживались воевавшие с русскими насельниками башкиры. Предание гласило, что эти защитники своей родины полегли костями на Татарском острове все до последнего. Вообще цветущий бассейн р. Исети в течение целого столетия, начиная с первого башкирского бунта, вспыхнувшего в 1662 г. под предводительством башкирского старшины Сеита, и кончая пугачевщиной, служил кровавой ареной и весь этот благословенный простор залит реками башкирской крови. После окончательного замирения Башкирии прошло не больше ста лет, и эта «орда» превратилась в настоящее русское приволье: на месте башкирских улусов, стойбищ, тебеневок и кошевок выросли русские деревни и развернулись крестьянские нивы, как на месте скошенной травы вырастает новая… Воспоминанием о поэтическом и воинственном башкирском племени сохранились в Зауралье только жалкие островки башкирского населения да башкирские названия русских сел, урочищ, рек и озер. (ЖР)

Стр. 141 (в конце 3-й главы). Вставка:

Действительно, между перелетной птицей и лётными существует роковая аналогия: та же стихийная тяга к своему месту, те же станицы, высыпки, кормежки, с тою разницей, что для каждого лётного опасность этого рокового пути удесятеряется тысячью препятствий специально человеческого существования. Самая хитрая и вороватая птица, по сравнению с самым простым и глупым человеком, является полнейшим ничтожеством и выкупает свое глупое птичье существование только колоссальной плодливостью; параллельно с этим и опасности птичьего перелета в миллион крат меньше того, что выносят лётные. Мы приведем только страшную цифру ежегодно ссылаемых в Сибирь в каторгу и на поселение, именно 15 000 человек, и так идет из

года в год; а между тем из всех ссыльных, по вычислениям сибирской статистики, в Сибири остается всего 5%... Куда же деваются остальные 95%?.. Мы можем сказать утвердительно, что большинство бежит...И если первый путь в Сибирь является специфическим русским via dolorosa, то этот *второй* обратный путь является беспримерным явлением, получающим, благодаря своей численности, правильности и постоянству, глубокое историческое значение. И так каждый год, точно льется широкая река... Представьте же себе ту страшную массу нечеловеческих страданий и опасностей, какую выносит на своих плечах этот отверженный, поставленный вне закона люд!.. Сначала нужно устроить побег из каторжной тюрьмы или с дороги на каторгу, что устраивается очень нелегко и часто покупается ценою жизни — лётный падает от пули тюремного часового или конвойного солдатика, прежде чем успеет дохнуть вольным, не острожным воздухом. Затем начинается неимоверное странствование по сибирской тайге, болотам и степям, где лётные безвестно гибнут от голода и жажды, в когтях дикого зверя, от меткой пули бурята и сибирского «челдона» или просто заедаются таежным оводом.

В общем, лётные бродяги — самый жалкий и забитый народ, так что в деревнях их не боится никто. Встречаясь на дороге с проезжающими, бродяги еще издали снимают шапки, кланяются и — самое большее — попросят хлеба. Среди сельского населения у бродяг создалась известная репутация, которой все они страшно дорожат. Мы отметим здесь тот знаменательный факт, что едва ли где-нибудь так хорошо относятся к бродягам, как в богатом Зауралье. В коренной Сибири бродяг недолюбливают, называют обидным именем «варнаков» и эксплуатируют всякими способами; в свою очередь, бродяги ненавидят желторотых сибиряков и называют их «челдонами». Зато в Зауралье им настоящий отдых; а река Исеть представляет из себя настоящий бродяжнический тракт. Беглых вы здесь встретите на каждом шагу, и это самый безвредный народ, несмотря на те страшные преступления, за которые большинство из них попало в Сибирь. Здесь сам собой выступает вопрос о преступлении и наказании, и важно то, как он разрешается людьми образованными и народом. Не безнадежная испорченность или неисправимо злая воля толкает большинство преступников на путь преступления, а сцепление роковых случайностей, которыми так богата на каждом шагу наша русская жизнь... Только крайнее меньшинство лётных, именно лётные-разбойники, представляются исключением из общего правила и к ним применима тяжелая кара закона. Какая масса никому не нужных страданий устранилась бы сама собой, если бы, с одной стороны, русская жизнь поменьше создавала роковых случайностей, а с другой, — наши следователи, судьи, прокуроры и присяжные умели и могли отличить действи-

тельно несчастного преступника от закоренелого злодея. К сожалению, известного лагеря печать и такие «проникновенные» учители, как Ф. М. Достоевский, возвели каторгу в ореол какого-то очищающего душу страдания… Это уже колоссальный абсурд, тем более, что он проповедуется теми самыми людьми, которые изобрели специально *русского* Христа*. Простой народ понял и разрешил этот вопрос с присущим ему здравым смыслом: та женская рука, которая каждый вечер кладет на полочку к окну кусок хлеба лётному, в этом простом человеческом движении неизмеримо чище и выше всех мистических туманов, именем русского Христа предлагающих для очищения русской души — каторгу…

Нам нужно сделать последнюю оговорку, именно, что не следует смешивать лётных разбойников и лётных бродяг. Разбойники держатся особняком, как своего рода аристократия, и «работают» каждый в свою голову. Это слишком сильный народ для стадного образа жизни, притом разбойники всегда стараются замаскировать себя: купцом, писарем, солдатом, мужиком и т. д. Лётные бродяги совсем другое дело: они являются под своим именем — бродяга, так бродяга… (ЖР)

Стр. 155 (в начале 2-го абзаца «Страшное отчаяние напало на Феклисту…»). Вставка:

Он был присужден к двенадцатилетней каторге. Сначала Иван бежал с какого-то этапа, сменявшись с бродягой именами, но его скоро поймали, узнали, кто он такой, и опять послали на каторгу. Наученный горьким опытом, он в течение шести лет прошел целый подготовительный курс, как бежать, куда, какими дорогами. На каторге были настоящие профессора по части бродяжничества, которые выходили из заключения десятки раз. Шесть лет велики, и нигде время не идет так медленно, как в тюрьме. Иван терпеливо ждал своей очереди и, наконец, выждал удобный случай для бегства. (ГАСО)

Стр. 176 (строка 6 снизу). Вместо слов: …больно просил «Носи-не-потеряй» // …больно кучился «Носи-не-потеряй» (*кучиться* — просить. Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка). (ГАСО)

---

* В рукописном варианте текста (ГАСО) полемика с Ф. М. Достоевским еще более усилена. Вместо слов: Это уже колоссальный абсурд, тем более, что он проповедуется теми самыми людьми, которые изобрели специально *русского* Христа // Это уже не колоссальный абсурд, а черт знает что такое, тем более нелепое, что оно проповедуется этими самыми людьми, которые изобрели специально *русского* Христа.

БОЙЦЫ

Рукопись на 110 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 12). В черновых тетрадях Д. Н. Мамина, содержащих план романа «Каменный пояс» (1879), имеется также набросок под названием «Сплав», напрямую относящийся к теме «Бойцов» (см.: Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 2, кн. 2. Екатеринбург, 2006. С. 424–425). В разделе данного тома «Рукописные реакции» помещен очерк «На реке Чусовой» (опубликован в журнале «Семья и школа» 1883, № 1), представляющий подступы Мамина к окончательной редакции «Бойцов». Первая публикация «Бойцов» с подзаголовком «Очерки весеннего сплава по реке Чусовой» в журнале «Отечественные записки» 1883, № 7 (с. 5–70) и № 8 (с. 267–328). В последующих изданиях внесены некоторые стилистические изменения и сделан ряд сокращений. Ниже приводятся разночтения окончательного текста с первой журнальной публикацией.

Стр. 190 (после 2-го абзаца снизу). Вставка:

— А больно дерется, бисов сын! — на ходу говорил пробегавший мимо хохол с какого-то демидовского завода. — Трохи не дае выпить горилки… Нехай ему пусто будет, бисову сыну!

На демидовских уральских заводах живет много хохлов, которых «пригнали» сюда из Малороссии еще в темные времена крепостного права. Есть заводы и деревни, где население сплошь состоит из хохлов, в других они составляют только половину или четверть. По наружному виду вы ничем не отличите хохла от других мастеровых коренного заводского населения, даже в одежде не сохранилось никаких особенностей, за исключением нескольких десятков хохлацких слов, да мягкого южного произношения некоторых согласных, как *г*. На такую метаморфозу завзятого хохла в уральского горнорабочего потребовалось всего 70–80 лет, т. е. смена четырех поколений. Женщины, конечно, дольше удерживают национальные особенности и в их говоре встречается больше хохлацких слов, но о запасках и плахтах давно и помину нет; их заменили яркие кумачные платки и ситцевые сарафаны, в каких ходят записные щеголихи кержанки. Хохлы совсем срослись с условиями уральской жизни и бредут десятками на Чусовской сплав, куда их гонит нужда и пережившая их обычаи и привычки, ничем неотразимая страсть к горилке.

Стр. 207 (конец 2-го абзаца снизу). После слов: … как «самой живой уральской артерии»:

Со своей стороны, Егор Фомич развил очень хорошо и очень красноречиво грандиозный проект эксплуатации Чусовой, как самого естественного и дешевого пути для транспортировки уральских и зауральских грузов.

Стр. 209 (5 стр. снизу). После слов: … сохранились только еще в провинции:

В сущности, это очень сложный тип, ничего общего не имеющий с нынешними докторами-героями. Поговорите с любым из таких хороших стариков в подходящую минуту, и вы удивитесь тому запасу нетронутых сил, какой сохранился в них: тут и непоколебимая вера в «истину, добро и красоту», и идеализированный взгляд на жизнь и людей, и чисто юношеская порывистость… И вместе с тем, эти же люди мучатся вечным разладом своих идеалов с действительностью, чистосердечно считают себя скептиками и стараются смотреть на вещи с философской точки зрения. Мне в этих стариках больше всего нравится именно это отсутствие всезнания и заносчивой авторитетности, которые портят нынешних докторов.

Стр. 278 (конец 1-го абзаца). Вставка:

Кын — Строгановский завод и, как на других Строгановских заводах, рабочим живется сравнительно сносно. Фамилия Строгановых в отношении к своим крестьянам всегда выдерживала нечто вроде семейной традиции, переходившей из рода в род: здесь не было ни притеснений, ни прижимок рабочим, а наоборот. Подобное явление вернее всего можно объяснить не обширностью и богатством Строгановских вотчин, которые видали и черные дни, а тем духом исконной русской промышленности, какой отличается эта самая древнейшая уральская фамилия.

Стр. 293 (3-й абзац снизу). После слов: По страшной крутизне покатился угодник Божий: *сноска:* Сохраняем правописание автора этой выноски. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка).

ЗОЛОТУХА

Рукопись и план очерков «Золотуха» хранится в ГАСО (ф. 316, оп. 1, ед. хр. 11). Первая журнальная публикация в журнале «Отечественные записки» 1883, № 2, с. 289–362. В последующих изданиях автор вносил изменения в текст, подвергая его серьезному сокращению. Так, в издании «Уральских рассказов» полностью исключена 11-я глава публицистического характера. Ниже приводим все разночтения с текстом первой журнальной публикации и восстанавливаем в полном объеме содержание главы 11-й, важное для понимания историко-экономических взглядов писателя.

Стр. 313 (конец 2-го абзаца III главы). После слов: Приисковая тяга не миновала ничьей головы:

а слабейшим членам семьи, как это случается всегда, доставалось всех труднее: они выносили на своих плечах главный гнет.

Стр. 353 (конец 1-го абзаца). Вставка:

Вот по этим горам в 1577 году прошел со своей разбойничьей шайкой «заворуй Ермак», а в 1595 году «Ортюшка Бабинов» проложил первую прямоезжую дорогу на Верхотурье: таким образом этот исторический порог, загораживавший славянскому племени дорогу в Азию, потерял свое значение, и первые переселенцы могли удовлетворить своему Drang nach Osten (стремлению на Восток).

Стр. 360–361. После главы X в журнальном варианте следовала глава XI, которую воспроизводим в полном объеме:

С каждым новым днем привлекательные стороны приисковой жизни выступали все резче. Там, внизу, на прииске, рядом с каторжным трудом и грошевыми заработками, царили пьянство и разгульная жизнь. Заработки старателей в общем, пожалуй, и окупили бы скромные потребности их быта, но они носили слишком неопределенный, случайный характер, так что даже большие получки являлись, как говорила Зайчиха, только «дикою копейкою», т.е. шли не на пользу хозяйству, а к его раззорению. Жизнь старательской семьи окружена непроходимым лесом всяческих нужд, так что лишний грош в этом circulus viciosus являлся каплей в море. Да и человек, который так безрасчетливо расходовал свои физические силы, должен же был хоть чем-нибудь вознаградить себя за постоянные лишения, за вечные голодовки и холодовки. Водка являлась только неотвратимым следствием сцепления целой системы роковых причин. Разгульная приисковая жизнь в своем основании главным образом обязана была пришлым бессемейным старателям. Эта толпа оборванцев и сорвиголов разносила по приискам ту же заразу, какая процветает на всех фабриках, заводах и промыслах, где женщина является только полуобеспеченной своим личным трудом. Пьянство и разврат — дети одной матери, имя которой: нужда. Старательский способ добычи золота — самый дешевый, какой только можно себе представить, и никакие машины не в состоянии будут конкурировать с человеком, которого заставляет работать крайняя нужда. Но, с другой стороны, насколько здесь выигрывает работа — настолько проигрывает человек, поставленный в невозможные экономические условия. Наука и наши горные экономисты в этом случае обрушиваются на старателей, а не хотят видеть тех экономических условий, жертвой которых они являются.

О прелестях казенного золотого дела мы считаем излишне говорить, потому что чужими руками хорошо только жар загребать; наша экономическая политика идет к погашению этого режима доброго старого времени, когда нагревали руки около казенного козла всесильные горные инженеры. Но переход к частной золотопромышленности, как он оформлен в уставе частной золотопромышленности, утвержденном

в 1870 году, является самой неудачной попыткой разрешения вопроса о золотом деле. Этот устав является не переходной ступенью, как это иногда неизбежно при осуществлении финансовых реформ, даже не компромиссом, а плодом той департаментской мудрости, которая из своего прекрасного далека продолжает тянуть вечно одну и ту же сказку о белом бычке, т.е. о покровительстве крупной российской промышленности. Весь процесс золотого дела обставлен тысячами таких формальностей, от которых пользы государству ни на грош, а между тем эти именно формальности загораживают дорогу всему золотому делу, потому что лишают возможности старателю являться самостоятельным промышленником. Проследите весь ход золотого дела: для поисков золота и разведок всякое лицо обязано иметь дозволительное свидетельство (§ 35), выдаваемое горным начальством *на гербовой бумаге рублевого достоинства* (§ 37); золотопромышленник, имеющий установленное свидетельство, желая произвести поиски золотоносных россыпей, обязан письменно заявить о намерении своем полицейскому управлению, которому подведомы места, на коих он предполагает произвести поиски и разведки, с объяснением и указанием: 1) имени и звания приказчика и людей, составляющих партию. 2) билетов и паспортов этих людей и 3) времени и места, куда отправляется поисковая партия (§ 539). На избранной свободной местности может быть занят под разведку участок на протяжении не более пяти верст, по направлению лога или по течению реки; заявка благонадежной россыпи должна быть произведена через полицейское управление; отвод заявленных площадей производится по приказанию окружного ревизора особыми отводчиками; на золотых промыслах, разрабатываемых исключительно одними старательскими работами, рабочие допускаются к таковым работам только артелью не менее 10 человек (§ 112); все добытое при разработке приисков шлиховое золото промышленники или заведывающие приисками обязаны записывать в *шнуровые книги* (§ 126); книги сии должны быть ведены без подчисток, поправок и пробелов, добытый металл должен в них записываться каждодневно; всякая статья дневного получения золота должна быть непременно подписана управляющим прииска, приказчиками и штейгерами, а где есть конторы, то и конторщиками или кассирами, которые должны находиться при каждодневной перечистке золота, при взвешивании его и при записке оного в книгу (§ 129); за право пользования казенными землями взимается ежегодно по 15 коп. за каждую погонную по длине прииска сажень (§ 146); и т.д., и т.д. Просматривая эти правила, можно видеть только, что московская волокита в них нашла свое полное осуществление. Если для крупного золотопромышленника все эти мелочи не имеют никакого значения, то для старательской артели они являются просто мертвой петлей. Скажите, откуда возьмет этот старатель гербовую бумагу рублевого дос-

тоинства на дозволительное свидетельство? Затем, заявку он должен сделать письменно, да еще в полицейское управление, когда старатель, во-первых, из ста случаев в девяноста девяти, безграмотен, а во-вторых, боится всякой полиции. Потом, обратите внимание на требование паспортов, на отвод участков для разведок, на шнуровые книги. Прииск превращен в какую-то канцелярию, с входящими и исходящими бумагами, с полицией на одном конце и с горным ревизором на другом. Понятное дело, что для купца эти правила трын-трава и он ежегодно может делать сотни заявок и не поморщится, а старатель отыщет потихоньку россыпь, да и продаст ее тому же купцу за расколотый грош.

Ясное дело, что вся эта канцелярщина запирает дорогу настоящей *частной* золотопромышленности, в лице старателей, и создает привилегированное положение. Какой же вывод в результате? А вот какой: из всего добываемого в России золота 70 % добывается старательским путем, а остальные 30 % — механической промывкой. Переведемте это на язык цифр: в 1880 году в России добыто всего золота 2641 п., 70 % составит 1848 п.; в пуде 3840 зол., и за каждый золотник старатель получит, возьмем maximum — 2 р., а крупный золотопромышленник сдает в казну за 5 р. — следовательно капиталист с каждого пуда золота отложит 11 520 руб., а со всех 1 848 пуд. добываемого старателями золота золотопромышленники отложили в 1880 г. довольно крупную сумму — 21 288 960 руб. На одном Урале в 1880 г. добыто золота 576 п.; следовательно, старателями добыто из этого золота — 403 пуда, за что им заплачено, считая по 2 руб. за золотник, около 3 мил рублей, а крупным золотопромышленникам с этого золота пошло 4 $^{1}/_{2}$ миллиона. Еще раз заметьте, что не только весь труд золотого дела выносит старатель на своих плечах, но и весь его риск.

К этим вычислениям остается добавить только то, что старателям золотопромышленники платят не 2 р. за золотник, а 1 р. 70—80 к., а затем, если скупщики находят выгодным получать от старателей краденое золото даже по 4 $^{1}/_{2}$ р. за золотник — значит, им выгодна такая операция. Далее, капиталисты спекулируют на припасах, которые продают старателям, на одежде, на водке, наконец, сплошь и рядом, обвешивают их и, в конце концов, даже не рассчитывают совсем.

Новый устав о золотопромышленности делает шаг вперед от порядков доброго старого времени, когда золотое дело являлось привилегией казны и было огорожено зеленой улицей из шпицрутенов, но другой рукой он создает более сильную привилегию, которая не нуждается даже в шпицрутенах. Это — привилегия капитала, которая всей своей тяжестью ложится на действительного золотопромышленника-старателя и вносит в систему государственной экономии громаднейшие дефициты в лице того остающегося в земле золота, которое старатель не в состоянии вырабатывать за свою сиротскую плату.

Сидя на крылечке паньшинской приисковой конторы и любуясь привольной картиной прииска, я часто думал о том, как немного нужно было сделать, чтобы поставить золотое дело на настоящую почву. Золотое дело, как всякий другой вольный промысел, нуждается прежде всего в полнейшей свободе от всякой канцелярщины, а тем больше — от тяжелой полицейской лапы; правительству нечего заботиться о том, как организуется промысел: форма готова, она приходит в лице артели через всю нашу историю, и нам остается только воспользоваться ею. Пусть старатель ищет золото, где хочет, и когда хочет, и как хочет. Правительству достаточно разбросать по приискам несколько десятков своих контор, где старатель мог бы сделать и заявку открытых россыпей и сдать добытый металл за ту же цену, какую получают теперь капиталисты-золотопромышленники. Те фиктивные доходы, которые получает теперь государство с гербовой бумаги, с посаженной платы — удесятерились бы, потому что золото полилось бы в казну широкой рекой. Воровство золота старателями пало бы само собой, а вместе с поднятием экономического уровня поднялся бы и нравственный. Но это только отрицательная сторона в деятельности правительства по отношению к золотому делу. При артельной организации, не рискуя ничем, можно устроить дешевый кредит, который особенно дорог старателям при начале работ, когда они являются на прииски после зимней голодовки; в эту тяжелую пору каждый рубль дорог, а между тем взять его старателю решительно негде. Затем, механическая промывка золота несравненно выгоднее ручной, но только тогда, когда будут ею заведывать сами старатели; роль правительства доставить им машины в долгосрочный кредит.

Мы глубоко убеждены в том, что рано или поздно наша финансовая политика обратит, наконец, внимание на старателей как на могучую силу в золотом деле; эта сила теперь разрознена и подавлена, но дайте ей выход — и она покажет себя. Против старателей существует громадное предубеждение, как против хищников по преимуществу, которые являются язвой на золотом деле и составляют вопрос государственной важности, но развяжите руки этой темной, пугающей капиталистов силе, и обвинение в хищничестве и других пороках падет силою вещей.

ПОПРАВКА ДОКТОРА ОСОКИНА

Рукопись (черновые варианты) 2-й и 3-й глав хранятся в РГАЛИ (ф. 316, оп. 1, ед. хр. 15), датируются 1885 г. Первая публикация в журнале «Русская мысль» 1885, № 12, с. 32–67. В последующих изданиях текст подвергся сокращению, — особенно это коснулось 5-й главы. Ниже приводим все разночтения с текстом первой журнальной публикации.

Стр. 399 (1-й абзац снизу). После слов: …доктор продолжал чтение своей рукописи:

«Человек весь ушел в мысль, сосредоточил на ней всю жизненную энергию, отказался от общественной деятельности, от семейных радостей и забот. Он должен вознаградить общество за такое эгоистическое распоряжение энергией, которая досталась ему преемственною работой многих поколений. В его научных исследованиях должен получиться на пользу общества эквивалент этого позаимствования. Но тут возникает вопрос: получится ли этот эквивалент даже при самых благоприятных условиях, когда индивидуальность ученого вполне соответствует поставленной им задаче?..»

Стр. 400 (конец 1-го абзаца). Вставка:

«Отвлеченная мысль не может уже перейти в конкретное явление, и, в то же время, эта мысль, отрываясь от общественной жизни, отрывается от источника собственного существования и осуждается в будущем на бесплодие, на черствую догму. Где же выход? Неужели может погибнуть результат труда долгих лет? Это немыслимо, потому что было бы нарушением закона сохранения энергии».

Стр. 400 (3-й абзац). Вместо слов: … и делала вид, что начинает понимать доктора // …и старалась убедить себя, что доктор шутит.

ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ

Рукопись на 30 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 38). Датировка отсутствует. Тексту предпослан жанровый подзаголовок: Рассказ. Первая публикация в журнале «Северный вестник», 1887, № 1, с. 41–82; подпись: Д. Сибиряк. Последние два абзаца заключительной главы (со слов «Нынче летом я опять был на Мочге…») в рукописи и журнальном варианте были отделены графически от основного текста продольной чертой, что придавало им значение эпилога. Приводим разночтения окончательного печатного текста с рукописной редакцией. В последнем случае особенно показательно использование автором (см. сцену прощания, с. 437) приема иронии, снятого в окончательном варианте текста.

Стр. 401 (конец 1-го абзаца). Вставка:

Половина жизни уже прошла, а точно и не начинал еще жить.

Стр. 414 (конец 2-го абзаца снизу). После слов: …объяснил он [Рубцов], пряча бутылку и рюмку:

— Помните:

Голова не болит у того,
Кто бессовестно спит…

Стр. 433 (конец 2 абзаца сверху). Вместо слов: …вставали печальные волжские села и деревушки // …вставали печальные волжские села и деревушки и еще более печальные волжские мертвые городишки. Что-то такое фальшивое и неестественное чувствовалось в этой странной комбинации убогих селений и летевших мимо них щеголей-пароходов. Одно с другим никак не вязалось: эти пароходы являлись слишком ярким диссонансом среди подавляющего своей необъятностью родного убожества.

Стр. 437 (конец 3-го абзаца снизу). Вместо слов: …и Аня долго махала платком // …и Аня по требованиям эстетики долго махала платком. Один серый кот остался реалистом до конца и дремал тут же на лавочке самым непростительным образом.

УЗЕЛКИ

Рукописная редакция повести «Из Уральской старины» на 42 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 32). Первоначальное заглавие «Узелки», подзаголовок «Из рассказов об уральской старине». Даты начала и окончания работы: 13 марта 1885 г. и 15 апреля 1885 г. Подпись: Д. Сибиряк. Разночтения с печатной редакцией минимальны. Первая публикация в журнале «Русская мысль», 1885, № 6. Приводим разночтения окончательного текста с рукописной редакцией.

Стр. 451 (строка 18 снизу). Вместо слов: Кержанка славная бабенка // Кержанка славная бабенка, даже вон руки мне все искусала.

Стр. 460 (начало 5-й главы). Вставка: Мы должны вернуться назад и проследить путешествие Яши Херувима с горбуньей.

Стр. 462 (строка 19 сверху). Вместо слов: Одним прыжком поп очутился в саду и потом в беседке // «Я беседку чай пить строил, а поганая Маринка плешничает в ней», — мелькнуло в поповской лысой голове, и он одним прыжком очутился в саду, а потом в беседке.

РОДИТЕЛЬСКАЯ КРОВЬ

Рукопись на 32 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1., ед. хр. 22). Датируется «12 декабря 1884 г., Екатеринбург». Впервые очерк опубликован в журнале «Вестник Европы» 1885, № 5, с. 115–156; подпись: Д. Мамин. При

подготовке к дальнейшим публикациям автор вносил в текст некоторые сокращения. Ниже приводим разночтения основного текста с рукописной редакцией, хранящейся в ГАСО.

Стр. 506 (конец 2-го абзаца снизу). Вставка после слов: Над городом N висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката:

Навстречу попадались пьяные чиновники, где-то пиликали гармоники, в каждой улице была непременно портерная — этот последний росток европейской цивилизации, пробившийся и к нам за Урал. Такие портерные, обязательно снабженные сомнительными девицами в качестве женской прислуги, служили самыми грязными притонами, развращавшими преимущественно городскую молодежь. По сравнению с этими логовищами старые кабаки представляют собой почти отрадное явление, потому что в кабаках никогда не бывает подобного безобразия.

Стр. 506 (строки 2–3 снизу). Вместо слов: … всегда кажется какой-то помойной ямой… // …всегда кажется какой-то громадной помойной ямой…

Стр. 525 (строка 13 сверху). Вставка после слов: «Иуда, рука твоя на хребте врагов твоих…:

Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?.. Иссахар, осел крепкий… Неффалим — теревинф рослый… Вениамин хищный волк, утром будет есть ловитву, а вечером будет делить добычу».*

Стр. 525 (строка 23 сверху). Вставка после слов: …был положительно великолепен:

Хотя его лицо с самого утра приняло такое выражение, точно он хотел чихнуть и не мог — положение, как известно, пренеприятное.

ЛЕС

Рукопись на 18 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 40). В рукописи дан жанровый подзаголовок: Рассказ, еще одно название «В лесу» зачеркнуто. Вверху на первом листе рукой автора: Дмитрий Наркисович Мамин. Москва, Тверской б., д. Ланской. В конце рукописи датировка: 10 декабря 1886 г. На первых страницах имя главного героя было иное — Гаврилыч, но оно повсюду зачеркнуто и заменено именем Фомич. Рукопись психологического этюда «Лес» и варианты очерка «На Мочге» и «В лесу» хранятся в РГАЛИ (ф. 316, оп. 1, ед. хр. 39). Первая публикация рассказа

* Мамин-Сибиряк цитирует библейский текст: Первая книга Моисеева. Бытие, гл. 49, ст. 9–27.

под названием «Фомич» осуществлена в журнале «Дело» 1887, № 1. В издании «Уральских рассказов» писатель устраняет последнюю главку, повествующую о смерти Фомича. Ниже приводятся все разночтения с рукописной редакцией, в том числе воспроизводится полный текст 5-й главы.

Стр. 533 (конец 2-го абзаца). Вместо слов: …на Урале они поражают своей разнузданностью // …на Урале они поражают своим безобразием и разнузданностью.

Стр. 536. В конце абзаца «Мы весело повернули с тропинки и побрели прямо сакмой…» добавка текста:

Павлин припоминал каждый камень, каждый куст и в заключение запел какую-то необыкновенную песню:

Людовик, говорят,
В один миг, говорят,
Все постиг, говорят…

Стр. 536. Начало абзаца «Избушка Фомича была поставлена на открытой поляне» имело другой вид:

Избушка Фомича, как и все другие охотничьи «станы», так ловко была поставлена на открытой поляне, что ее можно было пройти десять раз и не заметить. Это характерная особенность охотничьей архитектуры. Теперь избушку Фомича выдавали и тянувшаяся струйка дыма, и колебавшаяся полоса красноватого света… (далее по тексту).

Стр. 537 (конец 2-й главы). Вставка:

Параша-Кудрявая была из числа тех дурочек, которых создавало на уральских горных заводах крепостное право. Присутствие ее здесь являлось для нас неразрешимой загадкой, хотя подозревать Фомича в чем-нибудь дурном мы не имели решительно никакого права.

Стр. 538 (конец 3-го абзаца). Вместо слов: Ветхая рубашка из линючего ситца, пестрядинные штаны, какие-то лохмотья из рыжего крестьянского сукна, на ногах громадные сапоги и неизменная шапка на голове оставались те же // Ветхая рубашка из линючего ситца, пестрядинные штаны, какие-то лохмотья из рыжего крестьянского сукна, на ногах громадные сапоги и неизменная шапка на голове составляли весь костюм Фомича, но здесь, в лесу, разве имел значение такой пустяк, когда последняя лесная дудка была разодета, как барыня.

Стр. 546. За концом 4-й главы следовала глава 5-я, устраненная в окончательном тексте «Уральских рассказов».

Прошло несколько лет. Я еще раз, в последний раз, приезжал в Журавлевский завод. Это было зимой, незадолго до Рождества. Приходилось сделать на лошадях по малопроезжим дорогам несколько сот верст, а это стоило настоящей экспедиции. Журавлевский завод был совсем занесен саженным снегом и точно весь спрятался, — он казался гораздо меньше, чем летом, и вообще выглядел глухим медвежьим углом.

— Фомич-то, ведь, умирает! — встретил меня Павлин.

— Что с ним такое?

— Кто его знает: тает как свеча, и конец делу.

Вечером мы отправились с Павлином навестить старика, и с трудом, через сугробы, добрались до его избушки, от которой выставлялась из-под снега только верхняя часть и половина окон. Под крыльцом повизгивал несчастный Лыско, дверь из избы была покрыта густым куржаком. Огня в избе не полагалось, и Павлин должен был черкнуть спичку, чтобы осветиться. У наружной стены, между входной дверью и окном лежал больной Фомич и едва мог открыть свои глаза на шум наших шагов.

— Лучина… у «матерёшки»… — простонал он.

— Мы свою лучину принесли… — ответил Павлин, зажигая сальную свечу. Фомич узнал меня — и слабо улыбнулся. Он лежал на деревянной лавке в своей оленьей куртке и в шапке, как одевался всегда; ноги в пимах (валенках. — *примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка*) упирались в самое окно, которое обледенело теперь до верхнего косяка: была всего одна летняя рама, и недостававшие стекла заменялись размокшей сахарной бумагой. Вместо постели Фомичу служила вытертая оленья кожа, и такая же кожа являлась одеялом. Лицо Фомича сильно осунулось и пожелтело, глаза ввалились, из-за потрескавшихся губ виднелись еще крепкие белые зубы.

— Нужно пригласить доктора, — заговорил я.

— Все равно не встать… — слабо прошептал Фомич и бессильно махнул исхудавшей рукой. — Да и не стоит… будет! Вот он скажет… — прибавил Фомич, указывая глазами на Павлина.

Мы посидели с час, но старику было тяжело даже смотреть. После каждой фразы ему приходилось отдыхать.

— Вот камешки посмотреть бы… один раз всего… — проговорил он, указывая на замерзшее окно. — Как бельмо, свету нет… давит…

Мне хотелось по возможности помочь старику, но это оказалось неисполнимым: он и слышать ничего не хотел о докторе и лекарствах.

— Сначала у него сделалась желтуха, — объяснил Павлин, очень огорченный болезнью Фомича, — ну, Фомич и вздумал полечиться пихтовой хвоей: наварил ее и все пил. Вот и долечился, а теперь фельдшер

говорит, что не осталось никакой надежды. Все равно умрет, значит, и пичкать лекарствами не стоит.

— А что он такое говорил, что вы знаете? — спрашивал я, припоминая разговор с Фомичем.

— Да самое пустое дело и даже очень смешное. Так, блажь пришла человеку в голову. Ведь Фомич целую жизнь с кремневой винтовкой охотился и стрелял отлично. А тут я, как на грех, купил пистонную и все ею подразнивал старика. Фомич лет пять приценивался к моему ружью и даже как-то совсем уж по-ребячьи: не отстает от меня — продай. И главное сам не верит этим пистонным ружьям, хает их, а мое ему уж очень по сердцу пришлось. Ну, кое-как сладились: отдал я ему в долг винтовку, и Фомич на той же ноге в лес. Дело было зимой — самый олений ход. Хорошо. Прожил он в лесу — помните избушку на Размёте? — целую неделю и воротился с пустыми руками. Прямо ко мне — и винтовку приносит назад: «не надо». — «Что такое случилось?» Ну, он и рассказал штуку: напал он под Размётом на целое стадо оленей, штук до десятка — и все непуганые; ну, подкрадается, выщелит, выстрелит и — мимо. Понимаете? Да таким манером раз десять пропуделял. Что же тут особенного: стар стал, рука дрожит, глаз притупился, и только. А Фомич свое толкует: «Это, — говорит, — мой конец пришел, в свою, — говорит, — смерть стрелял»… Уж как я его ни уговаривал — ничего не берет, да и человек упрямый, характерный. Стал задумываться, а потом желтуха присунулась, — ну, и конец.

Через два дня Фомича не стало, — он так и не увидел своих любимых гор, которые называл «камешками». Провожали его на кладбище родные, мы с Павлином и Параша-Кудрявая. Она явилась в церковь к самому выносу тела и, когда начали закрывать гроб крышкой, стала совать какую-то голубую ленточку в изголовье покойнику, но ее отогнали и ленточку бросили. Помешанная, как всегда, пришла с распущенными кудрями и в таком же виде отправилась за гробом на кладбище; она была в серьезном настроении и торопливо откладывала широкие кресты. У сумасшедших вообще большое пристрастие к похоронным церемониям, хотя Параша редко участвовала в непосредственно следовавших за погребениями поминках, так что заподозрить ее в корыстных намерениях было довольно трудно. Когда стали опускать гроб Фомича в свежую могилу, Параша-Кудрявая бросила на него свою ленточку и дико заголосила. Это искреннее горе сумасшедшей, в которой один Фомич мог открыть таившуюся искру Божию, явилось лучшей памятью для него.

ТОЛСТУШКА

Рукопись «Переводчицы на приисках» на 45 листах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 16). Жанровый подзаголовок: Из рассказов о золоте. Датируется 1884 годом. Вместе с планом «Золотухи» (рукопись в ГАСО) находится набросок плана «Стрелы», который соответствует «Переводчице на приисках». При подготовке рассказа к изданию в составе 4-го тома автор сократил некоторые сцены, произвел стилистическую правку, изменил подзаголовок. Приводим наиболее значимые разночтения основного текста с рукописной редакцией (ГАСО).

Стр. 580 (строка 10 снизу). Вставка после слов: А я так и посел с своими одиннадцатью девками…:

При богатстве-то они, как камень за пазухой, были, а при бедности-то вышла кругом петля: что ни год, то невеста, а женихов-то и не видывали.

Стр. 581 (в 1-м абзаце снизу вставка, зачеркнутая рукой автора). После слов: …маялась, маялась, да и догадалась: померла…:

Только не хорошо и померла. Как Хомутов разбогател, первым делом отгородился от нас каменной стеной, а моя старуха пошла к нам в огород да и на этой стене и повесилась. Ох-хо-хо!.. Грех, великий грех принял я на душу!.. Сам чуть не удавился с горя… Покойница, по-вотяцки, устроила Хомутову *сухую беду*. Вотяки все так делают: кто обидит кого, сейчас обиженный-то придет да на воротах обидчика и повесится. Дескать, на же тебе, разделывайся с начальством за мертвое тело.

Стр. 586 (в строчке 8-й сверху была вставка, зачеркнутая автором). После слов: Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа:

(Ираида Филатьевна в качестве нигилистки начала шестидесятых годов отвергала существование Бога) дала ей добрейшее сердце…

Стр. 587 (1 абзац сверху). После слов: …улыбается своим палачам:

Она чувствовала в своих объятиях это не сформировавшееся, юное, полное сил тело, видела смущенное девичье лицо, слышала биение пульса этой таинственной Настеньки. Дальше ей представлялось, что девушка переживает самую горькую нужду. У ней нет приличного платья, белье сомнительной чистоты под богатыми тряпками убогой роскоши начинающей куртизанки.

Там же (в конце 1-го абзаца):

— Вы сегодня, кажется, витаете в заоблачном мире? — заметил за ужином Ираиде Филатьевне герр Шотт, когда она в землянику насыпала перцу.

— А у вас с утра, должно быть, болит голова? — отрезала Ираида Филатьевна, наливая в тарелку с земляникой и перцем сливок.

Стр. 589 (23 строка сверху). Вставка после слов: …сейчас же в дорогу:

Шипицын покорно подошел к лошади и занес ногу в стремя.

— Не эта лошадь! — остановила Ираида Филатьевна. — Разве не видите, что она в женском седле… Вон рядом стоит гнедая, на нее и садитесь.

Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу в стремя и, как мешок с травой, свалился на землю.

Стр. 596 (после 2 абзаца). Продолжение:

…как умела любить только она одна; Белоносов даже испугался, когда эта белокурая пятнадцатилетняя толстушка принялась душить его своими поцелуями, не зная границ охватившей ее страсти.

— Белокурые женщины с таким складом, как у тебя, — философски объяснял Белоносов, — отличаются флегматическим темпераментом, потому что у них в крови больше лимфатических шариков, чем у брюнеток. Скажи, пожалуйста: откуда у тебя этот африканский жар?

Там же (после 3-го абзаца). Вставка:

Гимназия была брошена Ирочкой еще раньше, и она вместе с другими ходила слушать университетские лекции. Жизнь кипела ключом; сквозь дым цветистых фраз, честных мнений и великих надежд будущее тонуло в самом радужном свете. Ирочка сильно веровала в это великое будущее и переживала лихорадочное возбуждение, овладевшее тогда обществом. Сходки в университете, полуночные беседы по студенческим каморкам, чтение заветных книжек — все это прокатилось, как один сплошной весенний праздник

Стр. 597 (конец 4 абзаца). Вставка:

…проговорила Ирочка, корчась в страшных муках.

— Ну, в другой раз мы, конечно, будем умнее…. Свет не клином сошелся, а вам еще долго придется жить. Вон у вас какая железная натура…

Там же (в 5-м абзаце). Вставка после слов: Ох! уж эта мне ваша бабья физиология:

И черт вас знает, как все это у вас мудрено выходит! Все человек, с какой стороны ни посмотри, а тут вдруг — баба… Нет, ты, моя толстушка…

Стр. 621 (после 5-го абзаца). Вставка:

— Вы, кажется, хотели меня видеть? — сухо спросила Настенька, не протягивая руки.

— Я… да… — залепетала жалко толстушка, точно отыскивая глазами по комнате прежнюю Настеньку, которую оставила здесь всего неделю назад. — Я пришла сказать вам только одно: зачем вы меня так долго обманывали? Я поверила вашей болезни, вашим слезам…

— Вольно было вам верить! Мне действительно было жаль вас, потому что вы, кажется, находились с m-r Пажоном в очень интимных отношениях…

— Настенька! — застонала толстушка. — И ты это мне говоришь?

— Что же, по-вашему, я должна была уступить вам m-r Пажона?.. Нет, уже достаточно, пожили в свою долю, а теперь можете взять свои книжки и тетрадки и убираться отсюда поскорее. Вы, конечно, понимаете, что вам оставаться здесь не совсем удобно. Ваши вещи сданы Макару, а через полчаса будут готовы лошади…

«УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ» Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Д. Н. Мамин может быть по праву назван «певцом Урала». Может быть, к нему даже в большей степени подошел бы литературный псевдоним «Уралец». Но то, что он выбрал и «застолбил» в литературе другое имя – «Сибиряк», тоже не случайно. Урал во времена Мамина воспринимался как переходная грань, перевал между Россией и Сибирью. Это еще не настоящая Сибирь, но, однако, уже то место, где сталкивались черты коренного старорусского населения со специфически сибирскими чертами и где, как вполне закономерный итог, в процессе исторического развития выработался особый тип уральский жизни и особый характер уральских людей.

Хорошо знавший писателя С. Я. Елпатьевский констатировал: «Мамин был уральский человек. Кряжистый, словно сколоченный, сильный и смелый человек. Он был весь полностью от Урала, обликом, ухваткой, чувствованием, думанием . <... Он был породистый, сильный человек, цельный и целостный, неломкий, негибкий, негнущийся. Он был, как обломок яшмы, красивой, узорчатой яшмы, занесенной далеко от родных гор. Он имел общий интеллигентский облик, но за полированной поверхностью яшмы была глыба цельной породы, чистой, твердой, твердой без трещин и излучин». То, что в самом ярком и концентрированном виде Мамин выражал именно недюжинный уральский характер, способствовало тому, что он «отразил в своих писаниях все, что внес в его душу Урал, его суровость и поэзию, буйную радость уральской весны и угрюмую печаль окутанных мглою узких долин и темных лесов, и душу уральских людей, хищных и кротких, отчаянных и молитвенных». Значение Мамина — не просто писателя этнографического плана, но именно общерусского художника —пожалуй, в том и состоит, что «он вернул Урал не только Уралу, но и России, в особенности вернул старое, древнерусское, исконное, что лежало в старом Урале»[1]. Более того, как показывает ход времени, а теперь уже более чем столетний рубеж, отделяющий нас от первого издания «Уральских рассказов» писателя, уверенно схваченная и блестяще раскрытая в художественных произведениях Мамина-Сибиря-

ка психология уральского человека и культурно-историческая «физиономия» Уральского края представляют собой величайшее достижение непреходящей культурно-эстетической ценности, закономерно вошедшее в классический фонд общерусской словесности.

В ряду самых известных произведений писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, составивших его художническую славу, едва ли не самое почетное место следует отвести циклу «Уральских рассказов». «Это лучшее, что у меня есть», – признавался сам Мамин[2], имея в виду, конечно же, целостный контекст собранного им цикла произведений, посвященных особому социально-экономическому быту и оригинальной природе Урала. «Уральские рассказы» как циклическое единство демонстрируют существенный фрагмент (а возможно, и целостную модель) художественного мира писателя. В связи с этим важнейшее значение приобретает вопрос об архитектонике, или ценностно-смысловой композиции, сборника-цикла.

Дело в том, что первоначально цикл «Уральских рассказов» задумывался писателем как сериальное издание, открытое в своем составе и потому предполагающее возможность переформатирования. Если обратиться к истории формирования цикла, то становится понятно, что в него входят рассказы Мамина, написанные в разное время. Так, первый по времени написания рассказ «В худых душах» датируется 1882 г., а последний рассказ цикла «Озорник» – 1896 г. Иначе говоря, первоначальный замысел возникал в русле так называемого «суммативного цикла», для которого, действительно, приложим простейший арифметический закон: «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Однако позднее циклическое единство «Уральских рассказов» начинает обнаруживать откровенную тенденцию к циклу «интегративному»[3], подчиняющемуся уже иным, более органическим, принципам художественной целостности. Относящиеся к интегративному циклу принципы монтажной композиции известный кинорежиссер С. Эйзенштейн воспроизвел достаточно парадоксальной формулой «1 + 1 > 2», опровергающей элементарно-арифметический закон «суммативного» цикла[4]. Подтверждает это и тот факт, что отдельные рассказы, напечатанные Маминым сначала в журнальном варианте, позднее собирались им в составе книг (или томов). На смену первым двум изданиям в виде двухтомника (М., 1888–1889)[5] приходит издание третье – трехтомное (СПб., 1899): состав его повторен без изменения, но, что касается структурно-композиционных связей (т. е. расположения рассказов по томам), то они подверглись существенной переработке.

При переходе от первых двух изданий к третьему произошло заметное переформатирование состава цикла: вместо двух томов оказалось три тома, при этом серьезно изменился порядок следования от-

дельных рассказов – составляющих цикла. Воспроизведем наглядно в виде таблицы составы, соответственно, двухтомного и трехтомного изданий «Уральских рассказов», обозначив внутри них продольной чертой границы между томами.

Издание 1888–1889 гг.	**Издание 1899 г.**
1. «В худых душах…» 2. На шихане 3. Башка 4. Родительская кровь 5. Гроза 6. Поправка доктора Осокина 7. Лётные 8. Первые студенты	1. «В худых душах…» 2. Башка 3. Отрава 4. Гроза 5. На шихане 6. Лётные
	7. Бойцы 8. Золотуха
9. Бойцы 10. Из уральской старины 11. Лес 12. Отрава 13. Золотуха	9. Поправка доктора Осокина 10. Первые студенты 11. Из уральской старины 12. Родительская кровь 13. Лес

Заметим, что наряду с трехтомным собранием своих рассказов Мамин, работая в какой-то мере на опережение, подготавливает к печати четвертый том. Состав его в формате четырехтомника остался без каких-либо изменений. Завершающий том «Уральских рассказов» — в том виде, в каком он был сформирован автором изначально, еще в 1901 г., и должен был войти в состав итогового 4-томного издания. Уточним состав этого последнего тома, пометив порядковый номер вошедших в него рассказов с учетом сквозной нумерации в контексте всего цикла:

14. Озорник
15. Переводчица на приисках
16. Доброе старое время
17. Верный раб
18. Вольный человек Яшка

Насколько важно было Д. Н. Мамину-Сибиряку соблюсти единые принципы для всего четырехтомного издания свидетельствует один примечательный факт. Жалуясь на невнимательное отношение издателя к 4-му тому «Уральских рассказов», сразу же по получении первой

корректуры тома Мамин писал Д. П. Ефимову (издателю) от 30 июня 1901 г.: «Вы не можете себе представить, как Вы меня огорчили первой же корректурой 4-го тома “Уральских рассказов”. Я ее сегодня посылаю Вам посылкой нечитанную, потому что ни печать, ни верстка, ни формат не подходят к формату, печати и шрифту первых трех томов “Уральских рассказов”… Согласитесь, что невозможно издавать разномастные книги под одним заголовком». По выходе тома Мамин в письме Ефимову от 9 февраля 1902 г. еще раз сожалел о внешнем виде издания: «Вы даже не сохранили обложку первых трех томов»[6].

Таким образом, столь настойчиво осуществляемое художником еще при жизни и окончательно авторизованное его последней творческой волей издание «Уральских рассказов» в 4-х томах (СПб., 1899, М., 1901; М., 1901–1905) закрепляет канонический вариант уникального циклического образования, теперь уже однозначно тяготеющего к интегративным циклам, или неразложимой в своей сложной архитектонической постройке художественной целостности[7]. Именно данными соображениями был продиктован выбор редакционной коллегии Полного собрания сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка – издать цикл «Уральских рассказов» отдельным томом, учитывая полный свод его отдельных произведений и заданный самим автором принцип композиционно-архитектонической организации художественного целого.

С нашей точки зрения, в архитектонике «Уральских рассказов» важен не только состав, но и объем его отдельных томов, если так можно выразиться, дозированная самим автором *порция читательского восприятия*. Этим обстоятельством, между прочим, можно объяснить и деление цикла (сборника) на четыре тома, объем которых оказывается предельно соразмерным. Внутри томов расположение рассказов строится с учетом их максимального тематического разнообразия, контрастного сочетания различных типов повествования, с одной стороны, и внутренней упорядоченности мотивно-тематической структуры, с другой. Драматическое напряжение этих двух, казалось бы, разнонаправленных тенденций обусловливает архитектоническую специфику всего сборника-цикла.

Для понимания природы циклизации у Мамина важен не только учет того или иного мотива, но и установление сродства (валентности) мотивов, их собранности в некий единый мотивно-тематический комплекс, более того, выявление интертекстуальной повторяемости, своего рода дистанциированного повтора мотивов в масштабе большого циклического пространства. При этом должно быть очевидным, что описать все структурно-смысловые связи, возникающие на уровне мотивной организации между отдельными рассказами (составляющими цикла как единого рецептивного контекста), – задача практически неподъемная, ибо индуцирование подобных связей, находящихся в прямой зави-

симости от контекста читательского восприятия, в пределе своем ничем не ограничено. Вовлечение в этот рецептивный контекст все новых и новых текстов (напомним, что полный состав цикла насчитывает 18 рассказов) грозит лавинообразной индукцией смысловых связей. Несмотря на это, оптимальным выходом из создавшейся ситуации представляется следующее – обнаружение наиболее представительных лейтмотивов, цементирующих цикл в единое структурно-семантическое пространство и выявляющих его континуальную целостность.

Обратим внимание прежде всего на *повествовательную структуру* цикла. Важнейшим фактором циклизации у Мамина становится тип субъектной организации повествования[8]. Примечательно, что преобладающими его формами в «Уральских рассказах» выступают именно «Я-ситуация» (повествование от 1-го лица, или некоего условного рассказчика) и «аукториальная» ситуация (повествование с точки зрения «безличного» автора). Что касается третьей возможной повествовательной модели, так называемой «персональной ситуации» (повествование с точки зрения героя-персонажа, реального участника события), то она представлена в рассказах Мамина по минимуму. Продемонстрируем распределение субъектно-повествовательных моделей в контексте всего сборника-цикла, оговорив при этом использование условных обозначений: «Я» (повествование от 1-го лица), «Он» (аукториальное повествование), «Ты» («персональное» повествование).

В нарративном, или субъектно-повествовательном, отношении архитектоника цикла по отдельным томам будет выглядеть следующим образом:

т. I	«Я» – «Он» – «Я» – «Я» – «Я» – «Он»
т. II	«Я» – «Я»
т. III	«Он (→Ты)» – «Я» – «Он» – «Я» – «Я»
т. IV	«Он» – «Он» – «Он» – «Он» – «Я»

Как видно из приведенной схемы, преобладающей формой нарратива у Мамина является тип повествования от 1-го лица: он существенно преобладает в первом и третьем томах, практически господствует во втором томе, но заметно сдает позиции в рамках четвертого тома, идущего под знаком уже иной, прямо противоположной повествовательной инстанции – аукториальной. Подчеркнем, что форма личного повествования чаще всего выступает знаком этнографического очерка («Бойцы, «Золотуха») либо жанровым сигналом «записок охотника» («Гроза», «На шихане», «Лес»). Напротив, аукториальная форма повествования способствует ведению более развернутого фабульного рассказа («Башка», «Лётные», «Из Уральской старины», «Озорник», «Переводчица на приисках», «Доброе старое время», «Верный раб»). Но в

том и другом случае установка на художественный объективизм[9] – суть маминской повествовательной стратегии.

Открывающее первый том произведение «В худых душах» задает образ автора-рассказчика, достаточно типичный для всей структурно-повествовательной модели «Я-ситуация». Образ рассказчика при этом предельно персонифицирован: за ним просматривается устойчивый тип мироотношения, аллюзионно проецирующийся на рассказчика известной повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (ср. тот же приезд в глухую провинцию столичного жителя, господствующую атмосферу любви и участия, царящую в имении двух милых и гостеприимных старичков[10]). У Мамина это выглядит так: «*Я очень люблю этот домик* (здесь и далее все выделения в цитатах, кроме особо оговоренных, принадлежат нам. – *О. З.*), выстроенный о. Яковом из старинного кедрового леса; он *так добродушно* поглядывает из-под своей порыжелой тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, точно вот-вот сейчас *хочет улыбнуться. Лет десять не бывал я в этом доме*, но он не изменился ни на волос, только как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул свою крышу прямо на глаза, как старую, разносившуюся шляпу» (с. 10); «– Рассказывайте, *я с удовольствием* послушаю» (с. 19)[11]. В качестве наглядных параллелей приведем отдельные фрагменты из гоголевской повести: «*Я очень люблю скромную жизнь* тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими… *Я иногда люблю* сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни… <… Я отсюда вижу *низенький домик* с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем»[12].

Разительное сходство со «Старосветскими помещиками» проступает у Мамина в портретных характеристиках матушки Руфины и отца Якова: «У ворот стояла низенькая толстая старушка в полинялом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные узкие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматривалась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она казалась бодрой еще не по летам. *Круглое добродушное лицо* было покрыто мелкими морщинами; они собрались около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу при каждой *улыбке*» (с. 10); «*Я всегда любил* эту спокойную уверенность попа Якова, его медленную речь, *веселую умную улыбку*, которою все *лицо точно освещалось*» (с. 13). Ср. у Гоголя: «Но более всего *мне нравились* самые владетели этих скромных уголков, *старички, старушки, заботливо* выходившие навстречу. <… На лицах у них всегда написана *такая доброта*, *такое радушие* и *чистосердечие*… Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века…»[13].

В других очерковых жанрах, относящихся к повествовательной ситуации от 1-го лица, образ рассказчика может быть уже и не столь ощутимо маркирован мотивом *любования*, но в любом случае он проходит в сопровождении характерных симптомов *любопытства* и *удовольствия*. Приведем лишь наиболее показательные примеры: «…полюбопытствовал я» (с. 67); «Я всегда любил смотреть…» (с. 92); «Я любил слушать бесконечные рассказы…» (с. 96); «Я долго любовался изменявшейся картиной северного неба…» (с. 120); «Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани…» (с. 185); «Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу… <… …поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал» (с. 232); «Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения» (с. 242); «…я с особенным удовольствием вспоминаю про это время» (с. 307). Повышенная степень социально-психологической характерности, достигнутая Маминым в «я» рассказчика, в значительной степени поддерживается фигурой *охотника*. Так, самую сердцевину первого тома составили три очерка – «Отрава», «Гроза» и «На шихане» (последние два из них имеют жанровые подзаголовки «Из охотничьих рассказов» и «Из записной книжки охотника»). Мотив любопытства в них лишается своего интимного ореола, но все равно остается главной движущей силой сюжетно-фабульного развития. Примечателен в этом плане концепт «загадки», определяющий основной сюжетный нерв в очерке «Отрава». «Чужая душа – потемки» (с. 67), поэтому рассказчик предпринимает максимум усилий для объяснения загадки души и внутренних побудительных мотивов действий деревенской отравительницы: «Отрава оставалась *загадкой*»; «Вообще Отрава являлась некоторою *загадкой*» (с. 74); «Отрава не выходила у меня из головы: что-то *такое непонятное* стояло за этою *странною* старухой, отравлявшей целую “округу”» (с. 80); «В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, и это *поражало всех*» (с. 74). Главное противоречие, которое пытается разрешить для себя самого рассказчик: «Что-то такое ни с чем не сообразное выплывало из всего уклада крестьянской жизни, становясь вразрез с мирными деревенскими порядками» (с. 80); «…многое в этой истории для меня лично оставалось темным» (с. 87). Разрешение этому будет найдено, но не сразу, и подсказкой этому, как всегда у Мамина, выступит сама жизнь с ее спонтанными проявлениями и контрапунктом «голосов».

Прямой противоположностью «Я-ситуации» становится форма аукториального повествования, реализуемая в составе 1-го тома в рассказах «Башка» и «Лётные». В данной модели наррации уже отсутствует персонифицированный образ рассказчика, благодаря чему создается иллюзия предельно объективного повествования от 3-го лица. Центр

тяжести в структуре повествования переносится с функции рассказчика на *характерологию героя*. Прислушаемся к утверждению современного теоретика литературы: «Поскольку ценностный мир произведения – герой, то наиболее наглядное выражение П. а. (позиция авторская. – *О. З.*) находит в системе персонажей. В литературе Нового времени герой выступает как носитель оценки мира…»[14] Что касается Мамина, то центром авторской оценки в его рассказах, действительно, становится герой, т. е. участник событий в сюжете, напрямую связанный с мотивной организацией повествования. Автор в качестве познавательной инстанции уже не обладает монопольным правом на резонерское, декларирующее слово. Представление об истине задается у Мамина не диалектикой авторского самосознания, а *диалогикой голосов*, полифонией самой социальной действительности и духовно-нравственного бытия.

Мамин выбирает для своих рассказов особый тип героя, выламывающегося из среды, идущего наперекор устоявшимся нормам общежития. Тип «странного» и «лишнего» человека, столь убедительно освоенный классической литературой на материале высшего дворянского сословия, писатель находит в совершенно иной, крестьянской и мещанской среде. Так, в главном герое рассказа «Башка» автор подчеркивает широту души и поистине национальный масштаб характера: «Он пил с *тоски* (признак русской ментальности. – *О. З.*), которая неотступно сосала его. <… Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других *талантливых русских выродков*, кончившим роковым “общим знаменателем”, как называл Башка кабак» (с. 52)[15]. Под стать Башке и герой «Лётных» – Иван Несчастной Жизни, которого, как отмечает автор, «давила не внешняя обстановка бродяжнической жизни, а сознание, что он *лишний человек* на белом свете, как выдернутый зуб или отвалившийся от горы камень…» (с. 156). Сходство с «Башкой» подчеркивается в «Лётных» и важнейшим сюжетным мотивом – духовного потрясения и нравственного воскресения личности.

Главные герои рассказа «Башка» – опустившиеся на социальное дно люди: это и сам Башка, за плечами которого 12 лет бурсацкой науки, и Фигура Ивановна, бывшая провинциальная актриса, и еще совсем молодой человек по прозвищу Медальон, закончивший в прошлом гимназию с золотой медалью. Практически обо всех можно было бы сказать: «Фи… Какая гадость! Боже мой, Боже мой, до чего может дойти человек!» (с. 42). Мамин действительно рисует трагическую судьбу детей, не реализовавшегося, потерянного поколения (отсюда и символическое значение авторского подзаголовка «Из рассказов о погибших детях», и этимология города Пропадинска, прототипом которого выступает уездный Екатеринбург). Но существенно и другое:

рассказ «Башка» о том, что даже пропащие души требуют понимания, таят в себе некий не растраченный до конца потенциал духовно-нравственного возрождения. Важнейшая тема рассказа – «восстановление погибшего человека» (Ф. М. Достоевский), тема внутреннего достоинства личности[16]. Не случайно герои рассказа в то же время и герои-философы, по-своему размышляющие, рефлектирующие о своей жизни. Это мыслящие отбросы общества, «философски организованные умы», мечтающие, как, например, Башка, об идеале «цельного человека, сильного умом и волей» (с. 50). Даже в том случае, если герои не способны к рефлексии, они все равно вынашивают мечты, как, например, Фигура Ивановна, или видят сны, в которых переживают краткие моменты счастья: «Ей грезилась плохонькая сцена провинциального театра… <… Ей подносят большой букет, она прячет в него свое счастливое, улыбающееся лицо, потом посылает поцелуй публике и улетает за кулисы» (с. 43). Для поддержания человеческого достоинства, утверждает Мамин, достаточно даже иллюзии, пусть небольшой галлюцинации правды и счастья. Поэтому так важен в идейно-сюжетной структуре рассказа мотив нравственного потрясения героя: когда Фигура пропивает подарок Башки, надругавшись над его самыми живыми и святыми чувствами, над верой в возможность возрождения погибшей души, Башка опрометью бежит из кабака, позабыв даже шапку, потому как «его голова и без шапки горит огнем» (с. 59).

Ситуация духовного переворота назревает и в судьбе Ивана Несчастной Жизни, когда он вдруг, неожиданно для самого себя, ощущает сопричастность судьбе другого человека – Дуньке Непомнящей и ее только что родившемуся ребенку. Вот как автор описывает душевное состояние героя: «В нем самом происходило что-то такое необыкновенное, чего он еще никогда не испытывал, – ему и жутко было, и как-то легко, и что-то такое хорошее теплилось у бездомного бродяги на самом дне его души, именно то светлое человеческое чувство, которого не в состоянии вытравить никакая каторга» (с. 167). Да и сама Дунька при этом сравнивается с «подстреленной птицей» (с. 169), а время, проведенное ею на острове под защитой бродяг (и прежде всего Ивана), оценивается как «самое большое счастье в ее собачьей жизни» (с. 169). Мотив *полета* и образные сравнения с птицей красной нитью проходят через все повествование, символически срастаясь с мечтой о воле. Не случайно и этимология слова «лётный» (лётными на Урале называли бродяг и беглых каторжников) самим героем возводится к мотиву полета: «А хорошо летаю… вот и стал лётный» (с. 158). Наступление осени – этой «медленной агонии умирающей природы» – идет у Мамина в сопровождении картин улетающих птичьих станиц. В устах еще одного бродяги с гротесковым прозвищем Иосиф Прекрасный

прозвучит неизбывная грусть и предвещание скорой трагической судьбы: «Лист это кругом облетел, птица всякая потянула в теплую сторону, все по своим углам схоронились, одни лётные замешкались. Ни ты человек, ни ты зверь, ни ты птица какая… всем свое место есть, одному лётному земля – клином» (с. 177–178). С образом птицы метонимически связывается также мотив *песни*: «Птица-то проснется и сейчас Бога славит… Зверь – тот не умеет угодить Богу, потому, какая у него песня: либо завоет, либо залает, либо захрюкает, а птица на все голоса выводит. Птица, брат, вольная тварь – первая родня нашему брату, лётному…» (с. 141). Мотив вольного полета и образные сравнения героев с птицей дают о себе знать и в других рассказах цикла[17].

Аукториальный тип повествования, играя в 1-м томе «Уральских рассказов» сугубо подчиненную роль, начиная с третьего тома заметно повышает свою активность, так что в составе последнего тома уже представляет доминирующую тенденцию. Оговорим особое положение рассказа «Поправка доктора Осокина» в нарративной структуре цикла. Это вообще достаточно редкий случай в художественной практике Мамина, когда в центре внимания оказывается герой с высокоинтеллигентным типом сознания, причем взятый в состоянии интенсивной «душевной работы», затянувшегося мировоззренческого кризиса, духовно-нравственной «катастрофы». И здесь обнаруживается прямая типологическая близость Мамина-художника принципам толстовского психологизма и чеховской характерологии[18]. За границами интересующего нас цикла, в рассказе «Тот самый, который…» находим характерное признание самого писателя: «Безусловно дурных и порочных людей нет, как нет безусловно хороших – *у всякого есть своя маленькая поправка*, то, что в астрономии известно под именем личного уравнения»[19]. В данном контексте «поправка» (или «личное уравнение») прямо отсылает к заглавию рассказа «Поправка доктора Осокина». Вообще «поправки» такого рода уже напрямую корреспондируют с чеховским типом рассказа и присущей ему манерой несобственно-прямой речи[20].

«Репутация странного человека», закрепившаяся в городе Пропадинске[21] за доктором Осокиным, объясняется следующим образом: «В самом деле, пока другие разменивались на мелочи провинциального существования, он, доктор Осокин, вращался в мире великих идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него была *своя* (курсив автора. – *О. З.*) идея, и он хотел приобщить ее к общей сокровищнице человеческого знания» (с. 385). Этот новый, необычный для Мамина тип героя-идеолога потребовал от художника и нового характера письма, что особенно ярко проявился в конце IV главы. Именно здесь картина прогрессирующего сумасшествия доктора Осокина разворачивается как оживающие в сознании героя воспоминания о прошлом и

мечты о нереализованном настоящем. Именно здесь само художественное письмо оборачивается *речевой интерференцией* героя и автора-повествователя, заставляющей говорить о зачатках нового, «персонального» нарратива, что получит свое дальнейшее развитие в рассказах чеховского типа.

Цикл «Уральских рассказов» можно рассматривать как монолитную книгу, своего рода *эпос уральской жизни*. Напрашивающееся при этом сравнение с «Рассказами охотника» И. С. Тургенева вполне объяснимо: использование того же структурно-композиционного принципа циклизации малых повествовательных форм (прежде всего рассказа, очерка, реже – повести) приводит к созданию целостной концепции эпического мира, общенациональному охвату и воспроизведению российской жизни.

Отмеченные нами субъектные формы повествования и ведущие принципы характерологии выступают как детерминанты мотивной структуры «Уральских рассказов». Сама же эта мотивная структура определяется важнейшей, с нашей точки зрения, концептуально-семантической триадой *Природа – Социум – Человек*.

Попытаемся проследить сквозные мотивы, реализующие каждый член данной триады.

Природа. В цикле «Уральских рассказов» картины природы проходят лейтмотивом за исключением, пожалуй, лишь одного «трущобного» рассказа «Башка». В большинстве других произведений цикла природа заявляет о себе в самые важные, кульминационные моменты повествования, а в очерке «Гроза» становится даже основной, ведущей темой. Это приводит к тому, что рассказанная в очерке «настоящим охотником» Шапкиным драматическая история актрисы Анны Асафовны и ее дочери Агнички получает символическую параллель из мира природы. Закономерным образом гроза у Мамина из природного явления перерастает в феномен социально-психологического и нравственно-религиозного порядка: «Я часто об этом думаю, – признается Шапкин, – и так своим умом прихожу: за родительские прегрешения она *под грозу* попала… Не иначе, потому и в писании насчет этого совсем ясно сказано, что “на главы чад даже до седьмого колена”» (с. 111). Таким образом, нет ничего удивительного в том, что повествование начинается с картины приближающейся грозы и заканчивается мотивом послегрозового оживления природы: «Хорошо так было кругом, так мирно и торжественно; не хотелось верить, что только вот несколько часов назад, над этими самыми горами, пронеслась гроза и вырвала с корнем не одно дерево вот в этом лесу, где теперь все так радуется и ликует, – ликует, когда тут же рядом лежат мертвые, для которых больше нет солнечного света» (с. 112). При этом на вполне законной основе возни-

кающие читательские ассоциации открывают возможность уподобления скончавшейся от родильной горячки Анны Асафовны вырванному грозой могучему дереву.

Вообще мотивно-тематический комплекс природы в «Уральских рассказах» выполняет несколько функций. Во-первых, в описаниях природы Мамин акцентирует, как правило, региональный аспект, собственно уральскую специфику: «Вся эта *жалкая северная природа* точно дохнула всей грудью…» (с. 91); «Господствующие лесные насаждения *на Урале* – это хвойные леса…» (с. 93); «Накануне пал небольшой дождь, и день выдался такой светлый, теплый, какие подвертываются только на исходе *короткого уральского лета*, когда летнее солнце точно прощается с землей» (с. 165); «Особенно печальна осень *в Зауралье*…» (с. 175); «Такие ночи бывают *только на Урале*» (с. 209); «*Старик Урал* напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице»[22] (с. 280); «Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее *уральской летней ночи*» (с. 330); «Природа стояла великолепная, как это бывает только *в конце июля на Урале*…» (с. 345).

Во-вторых, описания уральской природы четко дифференцируются по сезонам: весна, лето, осень, зима. Природный календарь с его символической подоплекой нередко выступает как фактор сюжетного развертывания (рассказ «Лётные», очерки «Бойцы»). Дифференциация картин природы идет также с выделением соответствующих пространственных доминант, в качестве которых выступают ведущие топосы, будь то лес, поле, река или горы. В этом плане рассказы можно поделить с известной долей условности на «полевые» (с описанием крестьянской страды, как, например, в «Лётных»), «лесные» («Родительская кровь», «Лес»), «речные» («Бойцы») или «горные» («На шихане»).

Наконец, в-третьих, пейзажные зарисовки призваны контрастировать с картиною социальных противоречий, подчеркнуть гуманистическую установку автора: «Где-то ты, Аня, проводишь эту мягкую и поэтическую ночь?» (с. 17). В них в обобщенном виде предстают философские закономерности человеческого и космического бытия: «Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины… <… Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни…» (с. 28–29). С преломлением тайны природы в сознании отдельных наиболее колоритных героев (таких, например, как Савка, вольный человек Яшка или Фомич) связывается у Мамина совершенно оригинальная система миросозерцания, своего рода целостная натурфилософия. Это наглядно проступает в финале рассказываемых историй («На шихане», «Лес»). В последнем случае особенно заметно

следование писателя традиции, идущей еще от М. Лермонтова и Л. Толстого: «Человеку вот тесно, друг друга едят, а тут как вода кипит: и червячок, и козявка, и мушка, и ящерица, и птица… Всякому свой предел. Так-то… А вот человеку некуда деваться. Зачем?..» (с. 546).

Социум. Доминирующее положение в «Уральских рассказах» занимает, как правило, социальная тематика. Отдельные комплексы социальных мотивов (например, народного труда, защиты революционного подвига, «добросовестного ребяческого разврата» господ) достаточно подробно освещены в литературе о Мамине[23]. Остановимся лишь на тех мотивно-тематических комплексах, а также ценностных оппозициях и концептах, которые, с нашей точки зрения, оказались акцентированными не в должной мере.

Начнем с ценностной оппозиции *деревня – город*. Она задается уже в первом рассказе цикла «В худых душах», где захудалому, но «важному» (в рукописном варианте «баскому») селу Шерама противопоставляется «этот ваш Петербург» (выражение матушки Руфины). Разрушение деревенской идиллии, идиллического топоса и модуса художественности осуществляется у Мамина за счет драматического обострения действия, связанного с младшими детьми попа Якова и теми «нигилистическими» идеями, которые были вынесены ими из российской столицы[24]. Дальнейшее развитие оппозиция *деревня – город* получает в очерке «Отрава»: «Русская засыпающая деревня имеет всегда такой грустный вид, и невольно сравниваешь ее с городом, где именно в это время закипает какая-то лихорадочная жизнь. Контраст полный…» (с. 75). Высшей степени социально-критического обличения картина лихорадочной жизни провинциального уездного города достигает в колоритном фрагменте из очерка «Родительская кровь», изъятом из окончательного текста самим автором (не исключено, что по требованию цензуры): «Навстречу попадались пьяные чиновники, где-то пиликали гармоники, в каждой улице была непременно портерная – этот последний росток европейской цивилизации, пробившийся к нам за Урал. Такие портерные, обязательно снабженные сомнительными девицами в качестве женской прислуги, служили самыми грязными притонами, развращавшими преимущественно городскую молодежь. По сравнению с этими логовищами старые кабаки представляют собой почти отрадное явление, потому что в кабаках никогда не бывает подобного безобразия» (с. 847).

Однако, не следует думать, что, изображая городскую цивилизацию с откровенно негативных позиций, Мамин однозначно идеализирует патриархальный деревенский мир. Скорее наоборот, он прекрасно видит все присущие крестьянской общине болезненные противоречия: отсутствие в ней личностной инициативы, индивидуального самосознания, а также намечающиеся тенденции к социальному расслоению. Выпадаю-

щим из крестьянского мира героям-«отщепенцам», своего рода «лишним людям», писатель противопоставляет тип «общинного» человека с преобладающим «роевым»/ролевым типом сознания. Достаточно вспомнить в этой связи слова дяди Листара (рассказ «Лётные»), обращенные к беглым каторжникам: «Мир меня, значит, послал испытать вас, с добром или с худом вы пришли» (с. 149). Как следует из размышлений «лишнего человека» Ивана Несчастной Жизни, в составе деревенского мира «отдельный человек являлся только ничтожной частицей громадного живого целого и только в этом целом имел смысл и значение, как нитка в пряже или звено в цепи. Каждая крестьянская душа выстраивается по этому порядку и только благодаря этому порядку знает, что хорошо и что дурно: радуется, горюет, надеется, плачет, молится и – главное – чувствует себя на своем месте» (с. 156). Но, как показывает писатель, этот общинный мир в финале «Лётных» оборачивается своей негативной, стихийной стороной. После сцены страшного деревенского пожара тот же дядя Листар производит «в головах обезумевших мужиков и баб другой пожар». Пронесшийся в толпе чудовищный крик «В огонь их!..», по словам самого автора, «стоил пожара» (с. 201). Учиненная сразу же по горячим следам над лётными мужицкая расправа граничит с настоящим безумием и обличает таящиеся в толпе звериные инстинкты.

Мотив *зверства* приобретает у Мамина вполне законченный концептуальный вид. В финале очерка «Отрава» в устах многоопытного волостного писаря Ивана Антоныча концепт «зверство» получает предельно афористическое выражение: «Зверства этого вполне достаточно… Мужики зверствуют, а бабы травят – это по всем деревням так» (с. 88). В рассказе-исповеди Шапкина («Гроза») мотив зверства, переведенный уже больше в личностно-экзистенциальный план, напрямую сближается с мотивом *страсти* и *греха*: «…напало на меня какое-то зверство. Ей-богу… <… Озверел, значит… Ох-хо-хо! грех-то не по лесу ходит, а по людям» (с. 108). В семейном рукоприкладстве признается другой герой Савка («На шихане»): «Конечно, есть тут и мое зверство…» (с. 122). При этом мотив «зверства» получает у него расширительный смысл (вспомним, что в прошлом герой был разбойником), более того, выводит к мотиву *совести*: «От зверства от своего и пью…» (с. 126). Именно в оригинально обрисованном миросозерцании Савки сравнение человека с животным миром осуществляется далеко не в пользу представителей человеческого рода: «На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так… Он сытый-то еще, пожалуй, хуже… Верно! Лютости этой в человеке, зверства – пропасть… Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека» (с. 129). И все оттого, что «человек проявляет свое зверство» большею частью помимо той жестокой, но неизбежной необходимости, которая

царит у животных, в силу лишь единственного удовлетворения «своей жажде “лютовать”» (с. 131).

На полпути от социальных мотивов к личностно-интимным отношениям располагается проблемно-тематический комплекс *отцов и детей*. Данная тема получает у Мамина оригинальное претворение – в русле родовой памяти, нравственной ответственности поколений («В худых душах...», «Родительская кровь»). Даже во втором рассказе цикла «Башка» (напомним его характерный подзаголовок «Из рассказов о погибших детях») можно усмотреть развитие указанного мотивно-тематического комплекса. Прежде всего, обратим внимание на отсутствие у главного героя семьи: «*Не помня матери и не имея семьи*, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве» (с. 52). Однако отсутствие родительской любви вырабатывает в сознании героя некий защитный компенсаторный механизм. Симптоматично, что отношение Башки к Медальону («этому гимназическому башке в зародыше») напоминает нежные отцовские чувства: «Как ни странно сказать, Башка питал к Медальону *отечески нежные чувства*, точно сам он физически хотел продолжиться в этой жидкостной натуришке» (с. 52–53). Показательно также признание завсегдатая питейного заведения Корнилыча его хозяину Ваньке Каину: «Как *к отцу родному* иду, во как...» (с. 47). А все потому, что Ванька Каин наделен способностью к пониманию и относится к «погибшим детям», этим представителям социального дна, «как к людям» (с. 47). Схожий мотив замещения родительской любви, переноса ее на чужих детей проявляется и в других «Уральских рассказах» Мамина: отеческая привязанность героя к чужому ребенку подчеркнута в очерке «Гроза»; самоотверженная борьба женщины за обездоленное дитя положена в основу сюжета «Переводчицы на приисках»; странное в глазах городских обывателей чувство ответственности за не рожденного ребенка неожиданно просыпается в душе больного стареющего доктора («Поправка доктора Осокина»).

Человек. Социальным аспектом далеко не исчерпывается художественный мир Мамина. У писателя обнаруживается своя, оригинальная антропологическая система, в которой человек представляется феноменом экзистенциально-психологического и духовно-религиозного порядка. Реализм писателя, по его собственному определению, «одухотворенный»[25], поскольку к социально-бытовой проблематике в нем примешиваются вопросы национальной духовности, высоких человеческих страстей, греха и покаяния, совести и веры. Парадоксально, но в рассказах, посвященных, казалось бы, сугубо локальному материалу, ограниченных откровенно региональной проблематикой, важнейшая роль в антропологии писателя отводится национально-конфессиональному критерию, подлинно общероссийскому масштабу художественной типизации.

Остановимся на таком важном для Мамина-художника концепте, как «русский характер (или ментальность)». Этот концепт очень часто проступает в портретных зарисовках героев, например, священника о. Якова («В худых душах...»): «Высокого роста, с могучей грудью, поп Яков смотрел *настоящим русским богатырем*, а благообразная седина придавала его фигуре нечто патриархальное» (с. 13); «*Широкое русское лицо* попа Якова глядело своими серыми глазами строго и внушительно...» (с. 13). Национальные особенности проступают и в поведении героев, взять хотя бы Шапкина («Гроза»): «Вообще до чужих дел Шапкин был великий охотник и из-за них позабывал о себе. Такими людьми *на Руси хоть пруд пруди*, и, как кажется, это одна из *наших национальных особенностей*» (с. 98). Черты русского национального характера высвечиваются автором с самых различных сторон, причем далеко нелицеприятных: «Как известно, на угощение *русский человек* необыкновенно падок...» (с. 202); «За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только *один русский человек*, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить» (с. 207); «Прогрессируя, *наша историческая русская нужда* пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы» (с. 221). О башкирах-инородцах в «Бойцах» говорится так: «Они держались особняком, не понимая *остроумной русской речи*». При этом, однако, подчеркивается «*необыкновенная способность русского человека* к быстрому образованию» сплоченного общества, самого дружественного коллектива (с. 267). Нередко разговор о национальном характере отливается в устойчивые идиоматические выражения: «...как умеет это делать *один русский человек*, *крепкий задним умом*...» (с. 62); «Но велик русский “авось” на воде, может быть даже больше, чем на суше» (с. 279).

Отдельного разговора в свете национально-гуманистических взглядов Мамина заслуживает вопрос о понимании роли женщины в семье и обществе, о женщине как хранительнице домашнего очага и носительнице высоких нравственных ценностей. Писатель со всей присущей ему силой художественного дарования воспел сильный женский характер, изобразил во всем драматизме жесточайший излом нелегкой женской судьбы. В очерке «Золотуха» находим характерное признание Мамина: «Всякое горе, которое постигает членов семьи, обыкновенно собирается около домашнего очага, где оно еще раз переживается всеми, а всех больше, конечно, тем, чье сердце болит о детях с первого дня их появления на свет. Страдания и неудачи заставляют семью теснее сплачиваться, точно она занимает оборонительное положение, и в центре этой семьи, ее душой в несчастьях является всегда женщина. В женской любящей натуре живее несокрушимая энергия, которая до последнего вздоха стоит за интересы своего пепелища. Когда мужчина теряется и начинает испытывать первые приступы глухого отчаяния,

женщина быстро собирается с силами и является с геройской решимостью не отступать ни перед какой крайностью» (с. 355–356). И действительно: последовательно разворачивающиеся на наших глазах судьбы матушки Руфины («В худых душах…»), Анны Асафовны («Гроза»), Феклисты («Лётные»), Ираиды Филатьевны («Переводчица на приисках»), Антониды Васильевны («Доброе старое время») – это все красноречивые свидетельства нравственной красоты и духовного величия русской женщины, ничуть не уступающей по силе мужскому характеру, а в плане отстаивания личностно-гуманистических и семейно-родовых ценностей, может быть, даже превосходящей притязания мужской части человечества. Не случайно в качестве ближайшей параллели здесь напрашиваются сравнения с «русскими женщинами» Н. А. Некрасова, прежде всего – с образами Дарьи («Мороз, Красный нос»), Матрены Тимофеевны («Кому на Руси жить хорошо»), княгини Волконской («Русские женщины»).

В широкий мотивный комплекс русского национального характера вписываются у Мамина черты *религиозного сознания* героя-простолюдина. Своеобразным камертоном в этом плане, настраивающим читательское восприятие на должный лад, выступает уже первый рассказ цикла «В худых душах…». Все жизненные испытания, выпавшие на долю своих младших детей, матушка Руфина воспринимает как заслуженное наказание за свою с о. Яковом непомерную гордость: «Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, Господь его и найдет… Мы думаем, теперь вот отдых нам подойдет, – а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!..» (с. 21). Отчетливо религиозное мироощущение проступает в словах о. Якова, обращенных к его сыну Кинтильяну: «Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ Богу дать на Страшном суде…» (с. 24). Примечательна сцена религиозного экстаза, охватившего старую супружескую чету после увиденного отцом Яковом провиденциального сна: «Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вои. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем…» (с. 24). Все приведенные примеры – без исключения – фиксируют именно бытовые формы религиозности, как они проявляются в духовном строе русского человека-простолюдина[26]. Но вместе с тем важно и другое: к точке зрения героев-простолюдинов, носителей бытовой религиозности подключается голос самого автора-повествователя. Вот его реакция на услышанную от матушки Руфины трагическую историю современных «отцов и детей»: «Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, полная святой материнской тоски. Я вспомнил слова Писания: “Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног… Рахиль бо

плачущися о чадех своих и не хотяше утешитися, яко не суть"» (с. 26). Апелляция к тексту Священного Писания призвана подчеркнуть житийный статус героини[27], вписать современный автору исторический сюжет в контекст вечной книги.

В другом рассказе («Отрава») автору-повествователю важно разгадать мотивы поступков главной героини и реакцию на нее со стороны деревенских жителей: «Меня удивляло то смущенное и совестливое чувство, которое она [Отрава] возбуждала во всех…» (с. 78). Пожалуй, только в свете религиозного сознания становятся понятными и внутреннее спокойствие Отравы, и ее органическая связь с крестьянским миром: «Отрава поклонилась миру на четыре стороны, перекрестилась и ничем не выдала своего душевного настроения» (с. 83). Внутренней религиозностью проникнуты слова другого персонажа – отца заключенной под стражу крестьянки Анисьи: «Ох, согрешили мы, грешные… привел Господь…» (с. 77). К уже упоминающейся народной мудрости «Чужая душа – потемки» присоединяется и другая важнейшая религиозная максима: «Все под Богом ходим» (с. 77). Именно убеждениями религиозного сознания продиктован народный отказ от односторонних обвинений в адрес Отравы: «Не судите, да не судимы будете».

Мотивно-тематический комплекс народной религиозности включает в себя такие важнейшие концепты, как *грех, покаяние, совесть, молитва*. Именно в русском человеке Мамин усматривает духовную мощь и богатейшие силы, помогающие обретению истинного смирения, веры и любви. Аксиологическая позиция автора-повествователя органическим образом срастается с русской православной традицией, с устоявшейся системой народных духовно-религиозных представлений.

О силе родительской молитвы в «Худых душах» уже было сказано. Однако религиозное настроение оказывается типично не только для семьи священника. Вот как в «Лётных» автор-повествователь передает сцену прощания уходящего по этапу в Сибирь Ивана, убийцы брата, и его снохи Феклисты:

> – Прости меня, ради Христа, Феклиста… – повалился Иван в ноги снохе, когда его с партией отправляли по этапу. – Бес попутал…
>
> – Бог простит, Иванушка… – глотая слезы, ответила Феклиста. Она не жаловалась, не плакала, а точно вся застыла (с. 166).

Показателен в «Бойцах» прием пищи у бурлаков, который также строго регламентирован религиозным ритуалом: «Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону» (с. 197). И в других случаях, при прохождении опасных «бойцов»

(скал), равно как при отвале и привале, а также после каждого спасительного прохода под бойцом, «бурлаки усердно молятся». В модусе автора-повествователя данная картина получает возвышенно-поэтическое осмысление: «Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность – все сливается в один стройный аккорд» (с. 247).

Конечно же, писатель не мог пройти мимо еще одного специфически национального феномена – русской *проголосной песни*, которая, судя по частотности своего появления в «Уральских рассказах», неотступно преследовала воображение автора и пользовалась у него необыкновенной любовью. Приведем характерный пример: «Точно с того света донеслась и сейчас же смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту песню: может быть, молодой деревенский парень, которого зазнобила девичья краса; может быть, выливается в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может быть, поет забубенная головушка, кабацкий пропойца… *Мудрено поет русский человек*; не разберешь хорошенько, горе или радость заставляет его петь» (с. 17)[28]. «Мудреная песня» (с. 162) отзовется еще раз в исполнении дяди Листара («Лётные). В этой повести поют практически все: и беглый каторжник Иван, когда-то в юности с замиранием сердца прислушивающийся, «не отдастся ли на его голос звонкая девичья песня» (с. 163), и бродяга Иосиф Прекрасный, распевающий «сибирскую острожную песню, которая обошла, кажется, всю Россию» (с. 145), и несчастная Дунька с ее извечной «какой-то печальной песней» (с. 176). Не случайно в одном из ключевых эпизодов повести, в сцене деревенской страды подчеркивается эффект именно проголосной песни, которая «весело катилась от одного покоса к другому» (с. 160). Совершенно другим ликом – «заунывным мотивом разбойничьей песни» (с. 331) – поворачивается проголосная песня приисковых старателей в «Золотухе». Однако в самом развернутом виде авторская рефлексия о проголосной песне, исполняемой бурлаком Савоськой, представлена в следующем фрагменте очерков «Бойцы»: «Она, эта песня, так же естественно вылилась из мужицкой души, как льются с гор весенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколодной змеей сосет сердце. Вся эта окружавшая нас грязь, эти потные пьяные лица – все на время исчезло, точно в комнату ворвался луч яркого света…» (с. 297–298). Кажется, лучше и не скажешь.

В связи с раскрытием национально-гуманистического потенциала и лирико-философского подтекста «Уральских рассказов» – этого по-

истине вершинного достижения творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка – нельзя обойти молчанием вопрос о творческом методе писателя. Точнее всего об этом высказался сам Мамин, назвав свой метод «одухотворенным реализмом». По мнению известного специалиста в области маминоведения И. А. Дергачева, «“одухотворенный реализм” – это синоним того “романтического реализма”, который обнаружен рядом исследователей в творчестве Короленко и некоторых других авторов. Мамин, один из сильнейших “бытовых” реалистов, как видно, не отрицал возможности эволюции реализма»[29].

Как показывает анализ художественного своеобразия «Уральских рассказов» Д. Н. Мамина-Сибиряка, эволюция писателя во второй половине 1880-х – начале 1890-х годов задает новый вектор движения, уже не вписывающийся в натуралистическую тенденцию, откровенный этнографизм и бытописательство. Углубление национальной специфики, выявление экзистенциальной драмы человека, выдвижение на передний план новых, духовных «измерений» общеродового бытия – именно это станет отличительной чертой Мамина-художника в последующие десятилетия и, преодолев границы узко-регионального масштаба, выдвинет его в разряд общерусских писателей-классиков.

Примечания

[1] *Елпатьевский С. Я.* Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк // *МВС.* С. 200, 201.

[2] «Читайте мои уральские рассказы, – говорил Дмитрий Наркисович. – Это лучшее, что у меня есть. Вырос там, впитал в себя. А то пишу я также романы, знаете, такие большие, длинные… Но свои рассказы с Урала я больше люблю…» (Признание Мамина литературоведу Ф. Батюшкову; см.: *ВМ.* С. 140.

[3] В типологии циклических образований мы следуем системе терминологических понятий В. И. Тюпы (см.: *Тюпа В. И.* Градация текстовых ансамблей // Европейский лирический цикл. Материалы международной научной конференции. М., 2003. С. 50–63).

[4] *Эйзенштейн С. М.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 157. Впервые в литературном цикловедении об этом сказано: *Дарвин М. Н.* Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово, 1983. С. 28.

[5] На самом деле двухтомное издание следовало бы рассматривать как первое по счету, но в силу сложившейся исторической традиции 1-й том (М., 1888) считается первым, 2-й том (М., 1889) – вторым изданием, соответственно, трехтомник (СПб., 1899) – третьим, а еще один трехтомник (М., 1905) – уже четвертым изданием. Из указанной парадигмы, казалось бы, выпадает 4-й том (М., 1901), который был выпущен в свет отдельно, но по общей логике (издание всех четырех томов осуществлялось одним издателем – Д. П. Ефимовым) все-таки примыкал к так называемому четвертому изданию.

[6] Письма не опубликованы. Цит. по: *Мамин-Сибиряк, 1958.* С. 560.

[7] Заметим, однако, что данное положение не препятствовало Мамину и позднее издавать некоторые свои рассказы (например, «Бойцы», «Лётные», «Озорник») отдельными книгами, что называется «в монографическом формате».

[8] Вслед за Ф. Штанцелем в современной нарратологии принято выделять три повествовательные ситуации: «Я-ситуация», «аукториальная» ситуация и «персональная» ситуация. См. об этом: *Лобанова Г. А.* Повествовательная ситуация // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 169.

[9] Принято (и, казалось бы, вполне обоснованно) усматривать типизацию Мамина в фактографической точности, картинном мастерстве, эпической полноте изображения. Строго очерченная лепка образов-типов, статических в своей основе, – такова преобладающая точка зрения на принципы маминского психологизма. Подтверждают это и отдельные высказывания самого писателя, содержащие авторефлексию по указанному поводу. Приведем лишь наиболее характерное признание из очерка «Боговая искра» (авторский жанровый подзаголовок «эскиз»): «Я только констатирую факт – то, что видел и слышал, – не пускаясь в дальнейшие комментарии» (*Мамин-Сибиряк*, *1985*. С. 94–95).

[10] В плане характерологии, или модификации известных литературных типов, еще более очевидны прямые цитаты и реминисценции из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (см.: *Щенников*, *1989*. С. 8–10). Однако в нарратологическом отношении наибольший интерес в рассказе «В худых душах» представляет именно аллюзия на «Старосветских помещиков» Гоголя.

[11] Все цитаты из «Уральских рассказов» приводятся по данному изданию с указанием в скобках соответствующих страниц.

[12] *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 2. С. 197.

[13] Там же. С. 198.

[14] *Тамарченко Н. Д.* Позиция авторская // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 173.

[15] В этом рассуждении дает о себе знать еще существенный концепт национального мировосприятия, фаталистического в своей основе, – концепт «судьба», который займет важное место в идейно-мотивной структуре цикла «Уральских рассказов». Не случайно герой очерка «На шихане» Савка, в недавнем прошлом разбойник, причисляется к разряду «особенных» людей, которым выпадает «и особенная судьба» (с. 124). Характеристика героя от автора («Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все *талантливые выродки и отщепенцы*…») и признание самого Савки («От *зверства* от своего и пью… <… То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад… Как пойдут в *башке* круги да столбы, начнется *тоска*…» (с. 126) выдают в нем внутреннюю неудовлетворенность собой и органическое родство с героем «Башки». Особое состояние русского человека (национальный комплекс тоски) подчеркнуто в исповеди другого героя, Савоськи (очерки «Бойцы»),

который пьет также из тоски: «Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тянет, барин… <… У меня, может, на душе-то каменная гора лежит… Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей постылой не рад. Хоть камень да в воду…» (с. 298).

[16] Показательна оценка Маминым пьесы Гауптмана «Ганнеле». В своем фельетоне «Обо всем» писатель отмечает в героине пьесы «прежде всего человека, страдающего, несчастного, но все-таки человека, у которого есть хоть *галлюцинация правды, счастья и святой радости*» (цит. по: *Дергачев, 1981*. С. 226).

[17] Характеризуя главного героя очерков «Бойцы» Савоську, автор использует сравнение с птицей: «Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас *видно птицу по полету*. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и маломальски приличным чекменем, он *ходит* по пристани *гоголем* и знать ничего и никого не хочет» (с. 190). В рассказе «Переводчица на приисках» сильный и целеустремленный характер главной героини Ираиды Филатьены также подчеркивается образным сравнением с птицей: в финальной сцене самоубийства она «распустилась … как *подстреленная птица*» (с. 623). Сюжетным мотивом «божьей», «правильной» птицы в виде замерзшего гусиного косяка завершается сюжет последнего очерка в составе цикла – «Вольный человек Яшка».

[18] Перечислим ряд наиболее выраженных «толстовских» и «чеховских» рассказов Мамина: «Коробкин» (1885), «Поправка доктора Осокина» (1885), «Последняя треба» (1892), «Тот самый, который…» (1893), «Исповедь» (1894), «Душевный глад» и «Сибирские старцы, кухарка Анафья и гражданин Рихтер» (1900), «Клецка и Клякса» (1909).

[19] *Мамин-Сибиряк, 1985*. С. 221.

[20] Несобственно-прямая речь, с точки зрения В. Шмида, «формально выглядит как рассказ». Более того, «по своим формальным признакам она принадлежит одному лишь говорящему, т. е. рассказчику, но на самом деле в ней “смешаны два высказывания, две речевые манеры, два стиля, два языка, два смысловых и ценностных кругозора” (М. Бахтин. – *О. З.*)» (*Шмид В.* Вклад Бахтина/Волошинова в теорию текстовой интерференции // Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. Изд. 2-е, испр., расш. СПб., 1998. С. 202, 206; бахтинская цитата приводится по изд.: *Бахтин М. М*. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 118).

[21] Город, прототипом которого выступает уездный Екатеринбург, представлен в творчестве Мамина под разными именами: *Пропадинск*, *Узел*, *Загорье*… Выбор искомого варианта, естественно, всякий раз мотивируется самим писателем в зависимости от его художественного задания.

[22] В данном примере Мамин выходит к созданию мифологических образов «старика Урала» и «горной красавицы» реки Чусовой совсем в духе высоко ценимого им М. Ю. Лермонтова. Прямой параллелью здесь могла бы служить мифологическая баллада последнего «Дары Терека» с ярко запоминающимися образами «старца-моря» Каспия, дикого и злобного Терека и

«красотки-молодицы» мертвой казачки. Последние два образа Мамин соединяет воедино, создавая образ своенравной и дикой уральской реки-красавицы.

[23] См.: *Груздев А.* Деревенская тема в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка (рассказ «Лётные»). Свердловск, 1960; *Дергачев, 1981*. С. 133–172; *Блажес В. В*. Поэтическое в очерках «Бойцы» Д. Н. Мамина-Сибиряка // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2002. № 5 (24). С. 57–66.

[24] Ср. в рукописи Мамина (разночтения выделены курсивом): «– Да ведь Прошку-то помнишь?.. Теперь где-то в Полому уехал, *нигилиста ловят*. – *Какого нигилиста*? – Да в Поломе-то попопом о. Ксенофонт, а у него сын… Ну там где-то *в наверситете* обучался, *а теперь его всей деревней ловят.* Только это так… он совсем *и не нигилист*, а это Прошка придумал» (ГАСО, ф. 136, оп.1, ед. хр. 13, л. 4–5). В рассказе о младшем сыне о. Якова, участвующем в революционной деятельности, в рукописном варианте опять же говорится, что по приговору суда он отбывают срок «в той стороне, где на собаках ездят» (см.: Там же, л. 14).

[25] Данный термин встречается в неопубликованных заметках Мамина к роману «Падающие звезды» и потому предположительно датируется 1896 г. (см.: *Дергачев, 1981*. С. 228).

[26] Об этом очень хорошо выразился М. Е. Салтыков-Щедрин в хронике «Пошехонская старина»: «…Самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм, вместо формулированной молитвы, только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и воздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. <… … он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его, наравне с другими алчущими и жаждущими» (*Салтыков-Щедрин М. Е*. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1988. С. 77).

[27] Отчасти и здесь можно усмотреть параллель с образом Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков» в сцене ее предсмертного завещания: «– Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своей печалью. <… При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно» (*Гоголь Н. В*. Собр. соч. Т. 2. С. 211–212).

[28] И здесь опять напрашиваются прямые параллели с Гоголем, на этот раз, правда, с поэмой «Мертвые души»: «Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?» (*Гоголь Н. В.* Собр. соч. Т. 5. С. 201).

[29] *Дергачев, 1981*. С. 228.

Список условных сокращений

ГАСО — Государственный архив Свердловской области.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

Урал, 1913 — Урал. Первый сборник «Зауральского края», посвященный памяти писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, 1913.

ВМ — Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке / Сост. З. А. Ерошкина. Свердловск, 1936.

МВС — Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников / Под ред. И. А. Дергачева. Свердловск: Свердловское кн. изд-во, 1962.

Мамин-Сибиряк, 1888 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы. Т. 1. М., 1888.

Мамин-Сибиряк, 1889 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы. Т. 2. М., 1889.

Мамин-Сибиряк, 1899 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы: В 3 т. 3-е изд. СПб., 1899.

Мамин-Сибиряк, 1901 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы. Т. 4. М., 1901.

Мамин-Сибиряк, 1905 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы: В 3 т. Изд. 4-е. М., 1905.

Мамин-Сибиряк, 1915–1917 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Пг., 1915—1917.

Мамин-Сибиряк, 1948–1951 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 12 т. / Под ред. Е. А. Боголюбова. Свердловск, 1948—1951.

Мамин-Сибиряк, 1953–1955 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 8 т. М., 1953—1955.

Мамин-Сибиряк, 1958 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 10 т. / Под ред. А. И. Груздева. М., 1958.

Мамин-Сибиряк, 1983 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы: В 2 т. / Подг. текста и коммент. И. А. Дергачева. Свердловск, 1983.

Мамин-Сибиряк, 1985 — Мамин-Сибиряк Д. Н. Рассказы разных лет / Подг. текста и коммент. И. А. Дергачева. Свердловск, 1985.

Дергачев, 1981 — Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк: Личность. Творчество. Критико-биографический очерк. Изд. 2-е, доп. Свердловск, 1981.

Щенников, 1989 — Щенников Г. К. Модификация известных литературных типов в «Уральских рассказах» Д. Н. Мамина-Сибиряка // Д. Н. Мамин-Сибиряк — художник: Сб. научн. тр. Свердловск, 1989.

Комментарии

При жизни Мамина «Уральские рассказы» выходили четырьмя изданиями: *Мамин-Сибиряк, 1888; Мамин-Сибиряк, 1889; Мамин-Сибиряк, 1899; Мамин-Сибиряк, 1901; Мамин-Сибиряк, 1905.* Первая попытка свести все рассказы уральского цикла воедино было осуществлено в 4-м томе издания: *Мамин-Сибиряк, 1915—1917*. В советское время предпринятые в составе собраний сочинений писателя попытки представить цикл «Уральских рассказов» как некую художественную целостность не могут считаться удачными. В более полном издании *Мамин-Сибиряк, 1948—1951* «Уральские рассказы» вообще разбиты по разным томам, т. е. авторский цикл оказался разрушен. Та же ситуация, еще с меньшим успехом, повторилась в издании *Мамин-Сибиряк, 1953—1955*. Лучше обстояло дело в издании *Мамин-Сибиряк, 1958*: оно сохраняет общий состав и последовательность рассказов, заданную самим автором, но и там «Уральские рассказы» оказались размещены в двух томах (Т. 3, 4), причем только 4-й том носит название «Уральские рассказы».

Наиболее авторитетным изданием цикла «Уральских рассказов» следует считать издание *Мамин-Сибиряк, 1983*. Этот двухтомник, выпущенный в «Средне-Уральском книжном издательстве» под редакцией И. А. Дергачева, положен в основу нынешнего издания. Основные, или канонические, варианты текста «Уральских рассказов» были установлены И. А. Дергачевым. В определении основного корпуса текстов «Уральских рассказов» редколлегия данного издания ориентировалась на работу, проделанную этим крупнейшим маминоведом и выдающимся представителем уральской филологической школы.

По сравнению с изданиями предыдущих лет, нынешнее издание значительно расширяет круг художественных текстов писателя, помещенных в разделах «Другие редакции» и «Варианты». Так, впервые публикуется рассказ «Легкая Рука», являющийся первоначальной редакцией очерка «Бойцы». В разделе «Примечания» серьезно углубляется историко-культурный и текстологический комментарий к отдельным рассказам Мамина-Сибиряка.

«В худых душах...»

Первая публикация: «Вестник Европы», 1882, № 12; с подписью: Д. М-ин. В журнальном тексте и издании «Уральских рассказов» (1888—1889) имелся подзаголовок «Люди и нравы в Зауралье», снятый в последующих изданиях. В ГАСО хранится автограф рукописи с названием: «В худых душах...». Рассказ; на л. 1 сверху надпись: Дмитрий Наркисович Мамин; даты и подписи нет, на 18 л.

В советском литературоведении было принято считать, что рассказ «В худых душах...» посвящен защите революционного подвига. «Именно защите, — подчеркивал И. А. Дергачев, — потому что реакционная пресса всячески чернила деятелей недавнего революционного прошлого. Передовая литература должна была найти пути утверждения нравственной высоты и самоотверженности героев...» (*Дергачев, 1981*. С. 149). И. А. Дергачев полагал, что этот рассказ явился своеобразным ответом на призыв М. Е. Салтыкова-Щедрина в очерке «Чужой толк» (цикл «В среде умеренности

и аккуратности») взглянуть не только на участников политических судебных дел, но и на то, как трагически отзываются их страдания в судьбах родных и близких (*Мамин-Сибиряк, 1983*. Т. 1. С. 420). А. И. Груздев связывал рассказ «В худых душах...» с утверждением общественно-прогрессивного характера идей шестидесятников в своей работе «Защита идейных и нравственных принципов шестидесятых годов в “Уральских рассказах” Д. Н. Мамина-Сибиряка» (Свердловск, 1960).

Д. Н. Мамин не говорит конкретно о каких-то передовых идеях, есть только одна деталь: в доме священника есть книга К. Маркса «Капитал», принадлежащая Кинтильяну, но читает ли он ее, не говорится. Если идти от текста рассказа, то на первом плане отец Яков и матушка Руфина с их заботами о доме, семье, и читатель знает о их детях только сообщенные ими сведения. Исключение составляет старший сын Никандр, о нем вспоминает рассказчик: в начале шестидесятых годов он, закончив учебу, как доктор появился в родительском доме — считал себя «мыслящим реалистом», форсил, носил мужицкую одежду, но «под его сермяжкой» чувствовалось «что-то хорошее, убежденное, верующее». Главное — он все воспринимал критически, его лицо «отличалось необыкновенной подвижностью и постоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой». Матушка Руфина говорит, что «у него каждое слово неспроста, все смешком». Он явный иронист по жизни, он сам всего добился, не доставляя хлопот родителям.

Как признается матушка Руфина, «первое горе нам с отцом» сделал Митрий: его выгнали из семинарии за пьянство, он два года жил у Никандра, затем «поступил в псаломщики», «в попы вылез», сейчас «конный завод держит». Второе горе было с Прохором, который «совсем дурашливым уродился», много с ним было хлопот, но сейчас служит урядником. Наконец, четвертый сын Кинтильян оказался под влиянием Никандра, пошел по его стопам, стал изучать медицину в Москве, но, очевидно, вступил в контакт с какими-то вольнолюбивыми кружковцами и оказался то ли в ссылке, то ли на каторге, вернулся в родной дом через шесть лет, потеряв интерес к жизни. Последняя беда отца Якова и матушки Руфины — дочка Аня, прошедшая такой же путь, как Кинтильян, и вернувшаяся домой после «душевного лазарета».

Д. Н. Мамин обращается к традиции народной культуры, где существует градация представлений о переходе жизни в смерть и, в частности, выделено три состояния, близких, но в то же время и различающихся. Первое: «быть в худых душах» или «жить в худых душах». Матушка Руфина жалуется собеседнику: «Так в худых душах и живем: ни живы мы, ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить насчет этого: долго еще нам в худых душах жить?» И чуть ниже: «Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, чтобы поделиться своим горем с живым человеком» — собеседник назван «живым человеком», может быть, именно по контрасту с претерпевшей великое горе семьей священника. Д. Н. Мамин дает сноску («“В худых душах” — равносильно при смерти, в ожидании смерти») к приведенным выше высказываниям матушки Руфины о жизни во всеобщем страхе. Постоянные заботы и переживания о детях в конечном итоге породили тотальный страх в душах родителей, который заставляет того же отца Якова ночью выходить во двор, красться к воротам и припадать к узкой щели калитки. «Что-то жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, которая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося зайца», — пишет Д. Н. Мамин.

Второе состояние, близкое к «худым душам», это состояние «живого покойника», в котором пребывает Кинтильян. Он ничего не рассказывает про себя родителям, живет замкнуто («сам все скучный такой, на себя не походит и по ночам долго не спит»). Только однажды, говорит матушка Руфина, он открылся: «“Пусто, маменька, вот здесь (показывает на грудь), недолго поживу, так уж вы не очень убивайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня видели”. А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не жилец он у нас, в живых покойниках...» К этому же состоянию примыкает и третье — состояние неадекватности, в котором находится Аня. Мать про нее сообщает: «Таскали-таскали ее по городам... а потом Аня-то стала задумываться да и рехнулась... С

год высидела в Казани в душевном лазарете, да толку не вышло... Все молчит и прячется, никого не узнает».

Рассказ «В худых душах...» был отмечен в рецензии на первое издание «Уральских рассказов». Называя рассказ лучшим произведением сборника, рецензент писал: «Рассказ очень недурен и по мысли, и по колоритности изображения, и по проникающему его искреннему чувству, но г. Мамин громко озаглавливает его — "Люди и нравы в Зауралье" и совершенно сбивает с толку читателя. Изображаются "люди", каких в Петербурге, конечно, больше, нежели в Зауралье, и рисуются "нравы" не совсем обыкновенные для глухого медвежьего угла» («Северный вестник», 1888, № 9). Показательно, что рецензент того времени не уловил в рассказе те революционные смыслы, о которых писали критики в советскую эпоху.

Стр. 8. *Летние тебеневки* — пастбища.
Стр. 9. *Рубаха из изгребного холста* — т. е. из грубого холста.
Сабан — род примитивного двухколесного плуга.
Стр. 14. *Казинетовое пальто* — из полушерстяной ткани.
Стр. 17. *Чекмень* — суконный кафтан.
Стр. 20. *Шадривая* — рябая, со следами перенесенной оспы.

Башка

Первая публикация: «Русская мысль», 1884, № 11 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в ГАСО с пометами автора: на первом листе — «24 августа 1884 г. Екатеринбург», на последнем листе — «5 сентября 1884 г. Екатеринбург. Д. Сибиряк».

Д. Н. Мамин-Сибиряк впервые показал жителей уральского уездного города, опустившихся на дно жизни и обитающих возле кабаков. Возможно, его внимание на них обратил старший брат Николай (*ВМ, 1936*. С. 83), хотя сам писатель хорошо знал таких людей, общался с ними на базарах, в питейных заведениях, обжорках. В. П. Луканин пишет в воспоминаниях, что Д. Н. Мамин-Сибиряк «непременно» посещал обжорку на базаре, которая представляла большой сарай, где харчуется простой люд и где «шум, гам, говор, народные остроты, прибаутки, а иногда и целые рассказы о жизни местных уральцев — и богачей, и бедняков, и старателей, и приисковых рабочих...» (*ВМ, 1936*. С. 83). П. П. Бажов, еще заставший такие обжорки в Екатеринбурге, отмечал, что Д. Н. Мамин-Сибиряк посещал их ради знакомства с народной жизнью: «Обжорка — это такая столовая, довольно грязная, шумная, пьяная, и все-таки человек, уже имеющий писательское имя, ходил туда. Зачем? Чтобы чувствовать плечо жизни, чтобы набрать свежих впечатлений» (*Бажов П. П.* Публицистика. Письма. Дневники / Сост. В. А. Бажова, М. А. Батин. Свердловск, 1955. С. 85).

Д. Н. Мамин-Сибиряк показал процесс спаивания народа, сделал реалистические зарисовки уездного быта и создал самобытные образы обитателей ночлежек, завсегдатаев кабаков — тех босяков, которые вскоре появились в произведениях молодого М. Горького. Поэтому рассказ «Башка» иногда называют «одним из первых "горьковских" до появления самого Горького» (*Дергачев, 1981*. С. 156). Но М. Горький не связывал своих босяков с маминскими. Он ввел героев рассказа «Башка» в контекст мировой литературы, соотнеся их с подобными персонажами американского писателя Брет Гарта (1836—1902). Сделал он это в отзыве на отдельное издание рассказа в «Новой библиотеке» журнала «Русская мысль» в 1901 г. «"Башка" — один из лучших рассказов Мамина, — писал М. Горький. — Это вещь, написанная а la Брет-Гарт о людях "бывших". Один из героев — бывший семинарист, другой — бывший гимназист, героиня — бывшая актриса. Герои — золоторотцы, героиня — проститутка. Описана колоритным языком кабацкая жизнь, трущобные нравы. Рассказ производит сильное впечатление, еще раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блестеть ал-

мазами духовной красоты» (*Горький М.* Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 50—51).

Подзаголовок «Из рассказов о погибших детях» кажется не очень внятным, если не обратиться к периоду работы Д. Н. Мамина-Сибиряка над «Башкой». В то время писатель очень много размышлял о системе образования в России, что получило отражение в ряде его сочинений (Подробнее см.: *Мамин-Сибиряк, 1948–1951.* Т. 10. С. 358—359). В частности, он начал «Записки семинариста» (составил план, подобрал статистические данные по учащимся бурсы), готовил о духовном образовании «журнальную статью» — эти материалы опубликованы (см.: Выдержки из черновых тетрадей Д. Н. Мамина // *Урал, 1913.* С. 88—91) и по ним видно, что причиной жизненной неустроенности своих героев писатель считает несовершенную систему образования. Он писал, что весь образовательно-воспитательный процесс направлен только на одаренных детей и юношей: «Пристрастие к исключениям, к выдающимся ученикам, к светлым головам вообще присуще русской системе воспитания юношества, а через семинарское воспитание оно проходит резкой чертой, красной ниткой, как нынче говорят, потому что здесь, как нигде, все построено на исключениях и для исключений, благодаря чему забывают об обычных головах...» Такая система имеет некоторые плюсы: в каждой семинарии могут назвать в числе своих выпускников «профессоров университета, духовных академий и бесчисленное множество докторов, учителей гимназий, юристов, народных учителей». Но минусов гораздо больше, потому что семинаристы средних способностей фактически остаются малообразованными и, кроме того, на их нравственном и «физическом» воспитании, как и на воспитании одаренных юношей, сказываются безобразные порядки, утвердившиеся в семинариях. «Я убежден, — пишет Д. Н. Мамин, — что семинаристы гибнут, как мухи, именно потому, что они с детства попадают в казарменную, каторжную обстановку и не выносят ее именно самые сильные организмы, потому что им труднее приспособиться к минимуму условий, которые переживают более слабые натуры» (Выдержки из черновых тетрадей Д. Н. Мамина-Сибиряка, с. 88—89). И подзаголовком писатель подчеркнул, что «погибшие дети» в его рассказе — это выпускники гимназии и духовной семинарии Медальон и Башка: оба блестяще закончили учебные заведения, один с золотой медалью, за что получил свое прозвище, другой все годы учебы был первым учеником — таких в семинариях зовут «башками». Но эти умные выпускники оказались совершенно не подготовленными к жизни и стали бездомными бродягами, завсегдатаями кабака в городе Пропадинске. Д. Н. Мамин писал также о том, что «час бурсы пробил и она должна уступить место более новым формам», и уверенно утверждал: «Единственный выход — это скорейшее слияние учебных духовных заведений с гимназиями» (Выдержки из черновых тетрадей Д. Н. Мамина, с. 90). Идея слияния частично нашла художественное воплощение в поведении Башки: он почти полюбил Медальона, «этого гимназического башку в зародыше, в бесконечном приближении к своему первообразу и идеалу, точно Башка видел в Медальоне часть самого себя, именно ту часть, которой ему недоставало».

Хотя Д. Н. Мамин отнес Башку к «погибшим детям», по тексту он не является таковым. В отличие от опустившегося Медальона и всех других завсегдатаев кабака, у которых нет возможности покинуть «дно», Башка сохранил способность честно заработать кусок хлеба. Кроме того, он — крепкий мужчина с «железным здоровьем», ему примерно тридцать пять лет, его «русую кудрявую» голову (у Д. Н. Мамина кудри — явный признак сохранившейся мужской силы и привлекательности) только тронула «легкая проседь». Он как бы создан для любви, но, пишет Д. Н. Мамин, «для него женщины... существовали, как печальная физиологическая необходимость». Но природа все-таки взяла свое. Он полюбил Фигуру Ивановну, он испытал «новое чувство», и это чувство заставило его «ухаживать за ней, как за ребенком», когда она заболела. Это новое чувство заставило его трудиться: «Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел... денег у него было много...» Деньги были нужны, чтобы у больной Фигуры появились матрац, подушка, лекарства, чтобы ее осмотрел доктор, чтобы купить ей батистовую рубашку, белое

кисейное платье — вещи, о которых она мечтала и которые она, выздоровев, пропила с пьяной компанией и при этом публично высмеяла Башку. Он молча, «бледный, как полотно», ушел из кабака и навсегда исчез из Пропадинска. Финал рассказа, вероятно, можно трактовать как уход сломленного человека. Но Башка испытал новое чувство, живоносное чувство любви, которое обогатило его натуру, возвысило его над остальными завсегдатаями кабака, и для него уже не был «дребеденью и чепухой» тот радужный ореол, которым поэты окружали женщину.

Рассказ «Башка» нравился Л. Н. Толстому. Д. Н. Мамин-Сибиряк писал матери 8 октября 1893 г.: «...один толстовец мне рассказывал, что Толстой в восторге от моего рассказа “Башка” и сам читал его вслух своей семье».

Стр. 30. *Плисовый пиджак* — из бумажного бархата.

Триковые штаны — из шерстяного бархата.

Стр. 31. *Шадривая рожа* — см. прим. к стр. 20.

Стр. 35. *Брыластый* — с большими отвислыми губами.

Стр. 36. *Шепериться* — упрямиться, ломаться, противиться.

Стр. 44. *Акцизный чиновник* — из ведомства по сбору налогов с промыслов и торговли.

Стр. 48. *Шлёнда* — повеса, гуляка, гулена, бесстыдница.

Стр. 49. *Осенний дипломат* — длинное пальто свободного покроя.

Теория утилитаризма — этическое учение, которое в основу нравственности кладет принцип личной и общественной пользы.

Стр. 50. *«Ввергохом злато в огонь, и излияся телец»* — библейское изречение (Исход, гл. 32, ст. 24). Телец был отлит из пожертвованных народом украшений.

Стр. 51. *Исполатчик* — мальчик, поющий «хвалу» во время выхода архиерея в церкви.

Канонарх — регент церковного хора.

Иподьякон — помощник дьякона.

Консистория — канцелярия церковного управления.

Отрава

Первая публикация: «Русская мысль», 1887, № 11 с подписью: Д. Сибиряк. Рукопись хранится в ГАСО: на 24 л., без даты, с названием «Косточки хрустят» и подписью Д. Сибиряк. Еще одна рукопись с названием «Косточки хрустят», на 1 л., без даты, хранящаяся в РГАЛИ, является началом «Отравы».

В записной книжке писателя из собрания Б. Д. Удинцева, хранящегося в РГАЛИ, есть варианты заглавия: «Косточки хрустят», «Отрава», «Аленка» (*Мамин-Сибиряк, 1983*. Т. 1. С. 421). А. Груздев и С. Груздева установили, что в основу рассказа «Отрава» положен реальный факт, освещенный Д. Н. Маминым в очерках «С Урала» («Новости», 1884, № 162, 168): жительница села Покровского Ирбитского уезда Авакумова травила трех своих мужей, зятя. Было установлено, что она сознательно лишила жизни четырех мужчин, а «вообще, — писал Д. Н. Мамин, — эта ведьма поставляла яды на целый округ» (*Мамин-Сибиряк, 1958*. Т. 10. С. 447). Если в очерках «С Урала» Авакумова характеризуется как уголовная преступница, то в «Отраве» главная героиня — личность, защищающая свое достоинство.

Д. Н. Мамин вырос в атмосфере народной традиционной культуры и хорошо знал, что одна из неписанных моральных норм предоставляла полную свободу действий главе семьи: он устанавливал бытовые запреты, меры наказания, поощрения для жены, детей, и никто не имел права в это вмешиваться. Некоторые главы семейств настолько перегибали палку, что становились изощренными домашними тиранами, превращавшими жизнь близких в кошмар. Д. Н. Мамин описывает несколько таких случаев в

рассказе «Отрава»: Пашка Капалухин подтягивал жену ногами к потолку и бил вожжами; другой Пашка, зять Спирьки Косого, раздевал жену донага и садил в лесу на муравейник, она «ревет благим матом», а он «около нее лежит и на гармошке играет»; еще был старичок Ефим, двух жен в гроб «заколотил», женился на третьей, молоденькой, и вот возьмет жену и стреножит: левую ногу с правою рукой свяжет ремнем да неделю держит... Бесчеловечное отношение мужчин вызвало такое же отношение женщин. Но в рассказе героиня убеждена в правомерности своих действий, и читатель почти готов сочувствовать ей.

В. Г. Короленко писал: «Деятельность Отравы оказывается единственной сдерживающей силой, ограничивающей издевательства над женщиной бесправной и приниженной в семье, где показывают свою «власть» мужики, тоже приниженные и бесправные в социальном плане. Писателю удалось показать действительную драму из народного быта во всем ее "простом и мрачном трагизме"» (*Короленко В. Г.* О литературе. М., 1957. С. 378).

Стр. 61. *Во времена башкирских бунтов* — восстания башкир в 1662—1669, 1701—1710, 1735—1747 гг.

Стр. 64. *Чекмень* — см. прим. к стр. 17.

Стр. 68. *Деликатные формы нового суда...* — После реформы 1864 г. была введена гласность судопроизводства, обеспечено участие адвокатов в процессе, дела рассматривались в присутствии присяжных заседателей.

Стр. 71. *«Стомаха ради»* — обыгрывание в речи совета ап. Павла: «Мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов» (1 Тим., гл. 5, ст. 23).

Стр. 77. *Пестрядина* — грубая льняная ткань в клетку или полоску.

Стр. 81. *Шалыган* — шалопай, повеса.

Стр. 86. *Гребтится* — думается, кажется.

Стр. 87. *Ободок* — недоуздок, узда без удил.

Гроза

Из охотничьих рассказов

Первая публикация: «Наблюдатель», № 12 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в ГАСО: на 17 л., на 1 л. надпись «10 января 85 г. Екатеринбург», в конце рукописи: «14 января 85 г.», подпись «Д. Сибиряк».

В «Грозе» Д. Н. Мамин обратился к уральским помещикам, точнее к судьбе столбовой дворянской семьи Ведерниковых, у которых в Карабаше была великолепная помещичья усадьба. Немногочисленные помещики появились на Урале в XVIII в., и их поместья были «крошечными островками на необъятном море остальных заводских и казенных земель». Д. Н. Мамин пишет, что к восьмидесятым годам XIX в. помещичьи земли перешли в другие руки, а их «владельцы разорились или вымерли». Но остались люди, помнящие помещиков. С одним из них рассказчика свела охота, это Лука Агафоныч Шапкин, бывший дворовый человек помещицы Ведерниковой. Луке Агафонычу под шестьдесят, в нем сохранилась физическая крепость, он кулаком забивает двухвершковые гвозди в стену и поднимает за передние ноги стоялых жеребцов. Для рассказчика Шапкин интересен, «как обломок крепостного режима», тем более, что он многое помнил и любимыми у него были воспоминания о господах Ведерниковых.

Через воспоминания Луки Агафоныча в рассказе раскрывается тема вырождения семьи Ведерниковых: старая Ведерничиха умерла «от огорчения», когда объявили отмену крепостного права; ее сын Агафон Иванович «пропал от своего характера: водочка да девушки унесли веку»; ее внук Сереженька в богадельню попал, потому как «совсем беспутным человеком оказался: кутил напропалую, а из себя был жиденький

такой, ну и скоро разумом ослабел и “пляску святого Витта получил”»; ее внучка Тэночка (Анна) в конце концов начала петь шансонетки в уездном театре. Лука Агафоныч вспоминает: «Дворянское дите, холеное да неженное, и вдруг перед публикой хуже, чем нагая... Верите, заплакал я даже . Ежели сама Ведерничиха-то жива была бы, — да она руки бы на себя наложила от этакого сраму!» Тэночка прижила дочку Агничку с одним из актеров, умерла при родах, и Лука Агафоныч почти десять лет воспитывает девочку. Он любит ее и намерен вывести «в настоящие люди»: «Нынче что, барышням надо Господа благодарить, потому везде скатертью дорога: и в телеграф, и в учительши, и в разные конторы...» Такова жизненная перспектива последней представительницы столбовой дворянской семьи Ведерниковых.

Стр. 90. *Морены* — обломки горных пород.

Стр. 99. *«Перикола», «Маленький Фауст»* — оперетты французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).

Ирбитская ярмарка — проходила в г. Ирбите со средины XVII в. в феврале — марте. К началу 1880-х гг. играла большую роль в торговле Европейской России с Сибирью, Китаем, Средней Азией.

Стр. 106. *«Орфей в аду», «Птички певчие», «Прекрасная Елена»* — оперетты Ж. Оффенбаха.

Стр. 109. *Содом и Гомор* — названия библейских городов Содома и Гоморры, ставших символами порока.

На шихане

Из записной книжки охотника

Первая публикация: «Вестник Европы», 1884, № 10 с подписью «Д. Мамин». Рукопись хранится в ГАСО на 14 л., без подписи и даты, почерк Д. Н. Мамина.

Журнальная публикация отличается от рукописи финалом: начиная со слов «В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального миросозерцания» идут рассуждения самого автора о чуткости и сердечности простого человека (примерно тридцать строк). Видимо, этот фрагмент был внесен Д. Н. Маминым в окончательный текст, отданный в журнал «Вестник Европы» (Подробнее см.: *Мамин-Сибиряк, 1948–1951*. Т. 10. С. 355).

После публикации рассказ сразу получил положительную оценку, в рецензии отмечалось, что Д. Н. Мамин «понял душу живого мужика Савки и дает уразуметь ее под безобразной оболочкой фабричного замотыги и бродяги» («Русская мысль», 1884, № 11). К сожалению, рецензент видит в главном герое замотыгу (мота, кутилу) и бродягу. Между тем Д. Н. Мамин выводит Савку как коренного заводчанина: с юности он работал не где-нибудь, а в кричной. Он защитил честь любимой девушки и поневоле стал заводским разбойником, а с отменой крепостного права просто перешел в разряд «особенных» людей», потому что выбрал занятие, ни от кого не зависящее — охоту. Даже старики дивились его необыкновенному уму, ибо он все понимал по-своему и все умел «представлять в самом смешном виде, с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги». Согласно его оригинальной философии, у всякого живого существа есть душа («хоть плохонькая душонка, да должна быть» — в той же, например, лошади или собаке). Савка живет с убежденностью, что у людей «правда» погибла, но сохранилась в природе.

Стр. 113. *Лядунка* — сумка для зарядов.

Стр. 115. *Медной ярью* — зеленой краской с бирюзовым и травянисто-зеленым оттенком.

Стр. 118. *Гардемарины* — воспитанники морского кадетского корпуса.

Кантонисты — до 1865 г. дети солдат, числившиеся с рождения по военному ведомству.

Стр. 120. *Некошная* — нелегкая, нечистая сила.

Стр. 127. *Успленьев пост* — Успенский пост (с 1 по 15 августа ст. стиля).

Курени и поруби — выжженные и вырубленные места в лесу.

Стр. 128. *Чуман* — берестяной черпак для воды.

Лётные

Из рассказов о жизни сибирских беглых

Первая публикация: «Наблюдатель», 1886, № 2, 3 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в РГАЛИ: главы V—X, на 19 л., с подписью «Д. Сибиряк» и датой: 18 сентября 1895 г. Вторая рукопись рассказа хранится в ГАСО: название: «Лётные. Из летних рассказов»; на л. 1 вверху надпись — автограф: «Мамин. Москва. Тверской б., д. Ланской»; без даты, на 43 л., с подписью «Д. Сибиряк».

Приехав в Москву в августе 1885 г., Д. Н. Мамин начал «усиленно» работать — так он писал в письме к матери от 8 сентября того же года: переделывал пьесу «Золотопромышленники» и писал рассказ «Лётные» для «Вестника Европы»; в письме от 20 сентября: «Третьего дня кончил большой рассказ для “Вестника Европы”, листа три печатных, теперь он переписывается, переписывает Мария Якимовна». Е. А. Боголюбов полагает, что М. Я. Алексеева подходила к своей работе переписчика не механически, а «довольно активно вмешивалась в писательскую работу мужа» — не случайно Д. Н. Мамин снова правил рассказ, о чем сообщал матери в письме от 29 сентября. (*Мамин-Сибиряк, 1948–1951*. Т. 10. С. 362). Посланный в «Вестник Европы» рассказ «Лётные» был отвергнут редакцией, и Д. Н. Мамин передал его в журнал «Наблюдатель», где он был сразу напечатан.

Д. Н. Мамин с молодых лет задумывался о беглых, лётных — они всегда выступали как непременная реалия народной жизни, и он их вводил в свои произведения. В очерке «На перевале» (1887) Мамин писал: «Бродяга — неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видел на тракту: идет обоз или экипаж катится, к ним из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются. Тысячи таких вот косачей бродят по лесу... Даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании... Выбитые из колеи, эти бродяги отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой даже в могилу... Это — полная гражданская смерть, а между тем таких не помнящих родства бродяг тысячи... Нет, жизнь — положительно страшная вещь». В «Лётных» писатель попытался художественно воссоздать жизнь отверженных и пришел к убеждению, что «не безнадежная испорченность или неисправимо злая воля толкает большинство преступников на путь преступления, а сцепление роковых случайностей, которыми так богата на каждом шагу наша русская жизнь» (Подробнее см.: *Мамин-Сибиряк, 1948–1951.* Т. 10. С. 365—366).

Стр. 132. *Становые* — полицейские чиновники, ведающие «станами», на которые разделяется уезд.

Блазнить — мерещиться.

Стр. 138. *Челдон* — бродяга, беглый, каторжник.

Стр. 146. «*Матерная вдова*» — вдова, оставшаяся после смерти мужа с малолетними детьми.

Дубас — безрукавная рабочая одежда из дубленого толстого холста.

Бойцы

Очерки весеннего сплава по реке Чусовой

Первая публикация: «Отечественные записки», 1883, № 7, 8 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись «Бойцов» без даты и авторской подписи, но написанная рукой Д. Н. Мамина и состоящая из 197 листов, хранится в ГАСО.

В молодости Д. Н. Мамин много писал о Чусовой, осознавая ее исключительное значение для Среднего Урала как транспортной магистрали, хотя живописность ее облика его тоже привлекала. Здесь необходимо пояснить, что до появления в 1896 г. прямой железнодорожной связи Урала с центром России вся продукция уральских заводов отправлялась либо дорогим гужевым транспортом, либо по рекам в специальных плоскодонных барках. Основной магистралью была Чусовая, которая поднимала до 70 % отправляемых грузов. Сплав барок обычно занимал до Перми 6—8 суток, Нижнего Новгорода — 45—48, Астрахани — 75—80, Петербурга — до 140 суток. Было два сплава — весенний и осенний. Весенний сплав всегда проходил в конце апреля, когда река освобождалась ото льда и был высокий уровень воды; если ледоход запаздывал, из Ревдинского пруда спускали воду, чтобы она взломала ледовое покрытие Чусовой. Все жители прибрежных поселков были заняты на сплаве, кроме того, заводчики нанимали тысячи сезонных рабочих из других губерний, которые в феврале начинали валить лес, разделывать его, строить барки к концу апреля, затем их «спихивали» на воду, нагружали и сплавляли в центр России.

Весенний сплав был экономически более выгодным, потому что по большой воде шли барки длиной до 18 сажень (1 сажень = 2,13 м) и грузоподъемностью до 15 000 пудов (в осенний сплав снаряжались полубарки длиной до 10 сажень и грузоподъемностью до 4 000 пудов). Но весенний сплав был очень опасным, потому что стремительное течение несло барки на прибрежные скалы и, если не получалось отвернуть, они «наскакивали» на них и разбивались — люди вместе с грузом шли на дно, многие погибали.

В осенний сплав такой опасности не было. Осенью сложность состояла в том, чтобы не посадить груженую баржу на мель, потому что вода прикрывала огрудки, таши (подводные камни), переборы не более двадцати сантиметров. И сплавщик должен был «вызнать реку в тонкость, до последнего камешка», чтобы благополучно сплавиться по Чусовой. Если же барка все-таки «садилась» на мель, ее разгружали, привлекая рабочих со стороны, переносили металл на берег, выводили барку на глубокое место и снова загружали — все это было трудоемко и дорого.

Весенний и осенний сплавы — это два совершенно разных трудовых процесса, сходных только в общих чертах. Именно так считал и так описывал их Д. Н. Мамин, но исследователи рассматривают все рассказы и очерки о чусовском сплаве как тексты с одним предметом изображения, поэтому пишут о трех редакциях «Бойцов», считая первой рассказ «В камнях», хотя в нем описывается не весенний, а осенний сплав.

Знакомство с чусовским сплавом началось у Д. Н. Мамина во время поездок в Пермскую семинарию. Е. Н. Удинцева в воспоминаниях сообщает, что Д. Н. Мамин, будучи семинаристом, иногда возвращался с летних каникул в Пермь по Чусовой; однажды вместе с братом Николаем плыл на полубарке с демидовской медью в составе так называемого летнего каравана (*Урал, 1913*. С. 75). О чусовских впечатлениях он говорит в письмах к родителям от 17 сентября 1869 г. и 22 августа 1870 г. В автобиографических заметках он пишет о нескольких «путешествиях вверх и вниз по реке Чусовой» (*Мамин-Сибиряк, 1948–1951* . Т. 12. С. 8). Общаясь с рабочим людом во время сплава, он, конечно, слышал предания о Ермаке-первопроходце, о местных разбойниках, о прибрежных камнях-бойцах, о которые разбивались барки, слышал различные устные истории и одну из них пересказал в самом раннем рассказе «Легкая Рука». Авторская рукопись этого рассказа хранится в ГАСО с пометой самого писателя: «Первоначальная редакция “Бойцы”, — писана в 1874—75 г.» Рассказ дает краткое описание весеннего сплава и горестную судьбу бедняка Исачки: его отец погиб на сплаве, в

нищете умерли пять братьев, и хотя он неплохой работник, он не может вырваться из нужды и встает на путь воровства.

В рассказе «Не задалось» (1876) судьба главного героя почти идентична судьбе Савостьяна Кожина из «Бойцов». Герой сначала работает на заводе, потом уходит на весенний сплав и гибнет в реке, что воспринимается как наказание за безвинно погубленную душу. История с финальным убийством на фоне осеннего сплава стала основой раннего рассказа «Русалки. Из народного быта» (подробнее об этих рассказах см.: *Боголюбов Е. А.* Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка. Вып. 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк периода безымянного авторства. Молотов, 1944. С. 65—68).

Как типично уральское явление Д. Н. Мамин пытался ввести «спишку» и сплав железных караванов в роман «Приваловские миллионы». В черновых тетрадях писателя сохранился довольно подробный набросок плана, озаглавлен он так: «Каменный пояс. Роман Дмитрия Рассказова. 1879» — речь идет о будущем романе «Приваловские миллионы». В наброске отмечены тематические мотивы, характерные для «Бойцов»: на берегу Чусовой перед отходом каравана «толпы бурлаков», которые «беднее самой бедности»; в день Еремея Запрягальника «крестьянское море заволновалось»; рабочие едят «заплесневелый хлеб» с водой; бурлаки поют печальные песни о «родной реке-кормилице» (*Урал, 1913.* С. 86). В таком же неразвернутом виде мотивы весеннего сплава присутствуют в ранней редакции «Приваловских миллионов», которую писатель назвал «Семьей Бахаревых». В ней Привалов выступает как некий агент, скупающий хлеб для продажи за границей: он отправляет четыре барки, груженные зерном, с пристани Быстрой по реке Межевой, и одна из них разбивается об Олений камень. В окончательном тексте романа нет чусовского сплава, очевидно, писатель решил разрабатывать эту тему как самостоятельную.

Последовал ряд очерков, в которых Д. Н. Мамин описывал весенний или осенний сплав заводской продукции: очерк «На Чусовой» («Неделя», 1881, № 19), очерк «Чусовая» в цикле «От Урала до Москвы» («Русские ведомости», 1882, 1 февраля), рассказ «В камнях. Из путешествий по реке Чусовой» («Дело», 1882, № 3), очерк «На реке Чусовой» («Семья и школа», 1883, № 5) — в них писатель включил исторические, фольклорно-этнографические факты, например, ввел описание барок, статистику несчастных случаев на сплаве, национальный состав наемных рабочих, пересказы локальных преданий и т. п. В очерке «На Чусовой» он описал только один случай — рискованный проход каравана по весенней воде мимо камня-бойца Гребешки, когда всех спасли энергичные и четкие действия бурлаков. Про такую слаженность на Чусовой говорили — «работать одним сердцем», и у Д. Н. Мамина этот мотив или присутствует в очерках, или развернут во впечатляющий эпизод.

Успех, выпавший на долю очерка «В камнях», описывавшего осенний сплав [он был впервые напечатан в «толстом» журнале «Дело» и получил доброжелательный отзыв критика А. Введенского в газете «Голос» (1882, № 48)], видимо, побудил Д. Н. Мамина написать большой очерк «На реке Чусовой» про весенний сплав. Рукопись очерка хранится в ГАСО с пометой писателя: «15 марта 1883 г., г. Екатеринбург». И в этот же день М. Е. Салтыков-Щедрин написал Д. Н. Мамину письмо с просьбой прислать в «Отечественные записки» какое-нибудь новое произведение. От таких предложений, конечно, не отказываются, и Д. Н. Мамин, отложив в сторону «На реке Чусовой», за несколько недель создал своих знаменитых «Бойцов». В письме от 1 июля 1883 г. М. Е. Салтыков-Щедрин сообщал Д. Н. Мамину, что «Бойцы» будут опубликованы в июльском и августовском номерах «Отечественных записок».

Стоит обратить внимание на то, что, работая над «Бойцами» в 1883 г., Д. Н. Мамин описывает сплав ушедший в прошлое, относящийся, как он сам замечает, «ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги». Дорога, соединившая Кушву, Нижний Тагил и Екатеринбург с Пермью, была открыта в 1878 г., значительная часть грузов стала отправляться по железной доро-

ге и характер сплава изменился. Но Д. Н. Мамин решил воссоздать весенний сплав в его традиционном виде.

Если оставить в стороне историко-публицистические и документальные материалы, инкорпорированные в текст, то основная повествовательная линия «Бойцов» может быть обозначена следующим образом: весенний народный праздник на пристани Каменка в связи со сплавом — спишка, участие в ней основных действующих лиц — сплав с многочисленными эпизодами самоотверженного труда-борьбы сплавщиков — прибытие каравана барок в Пермь — исповедь великого труженика и великого грешника Севостьяна Кожина [подробнее см.: *Блажес В. В.* Поэтическое в очерках «Бойцы» Д. Н. Мамина-Сибиряка // Известия УрГУ. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2002. № 5 (24)].

Стр. *185. Каменка, одна из нижних пристаней...* — пристань в устье реки Каменки, впадающей в Чусовую. В Каменке издавна жили старообрядцы, бывшие первоклассными сплавщиками.

Стр. 188. *Писать мыслете* — идти пьяной походкой; мыслете — название четырнадцатой буквы в церковной азбуке.

Стр. 204. *Смаживал на берейтора* — похож на учителя верховой езды.

Стр. *Заимствовано из Есипова* — из кн.: Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII века. Т. 1, 2. СПб., 1861—1863.

Стр. 221. *Приписные крестьяне* — нечастновладельческие крестьяне, приписанные к частным и казенным горным заводам с целью их обеспечения вспомогательной рабочей силой.

Стр. 253. *Мурчисон Р. И. (1792—1871)* — английский геолог, участвовал в изучении уральских недр.

Эйхвальд Э. (1795—1876) — русский палеонтолог, естествоиспытатель.

Стр. 293. *Трифон Вятский (1540—1612)* — строитель (1580), игумен и первый архимандрит Хлиновского Успенского монастыря; занимался миссионерской деятельностью среди языческого населения Прикамья.

Стефан Великопермский (ок. 1340—1396) — создатель зырянской азбуки, основатель первых храмов на зырянской земле. Занимался миссионерской деятельностью среди коми-зырян; добился учреждения Пермской епархии, стал ее первым епископом.

Золотуха

Очерки приисковой жизни

Первая публикация: «Отечественные записки», 1883, № 2. Рукопись на 66 л. хранится в ГАСО, даты и подписи нет.

И. А. Дергачев сравнил рукопись с журнальной публикацией и высказал предположение о редакторском вмешательстве М. Е. Салтыкова-Щедрина, впрочем незначительном и не меняющим существа картины и рассуждений (Подробнее см.: *Дергачев И.* Салтыков-Щедрин — редактор Мамина-Сибиряка // Урал, 1976, № 1). При подготовке первого издания «Уральских рассказов» Д. Н. Мамин снял 11-ю главу, которая в публицистической форме освещала хищническое отношение золотопромышленников к национальным богатствам.

В декабре 1882 г. М. Е. Салтыков-Щедрин получил почтой из Екатеринбурга «Золотуху», сразу же оценил ее как «прекраснейшие очерки золотопромышленности на Урале» (в письме к Г. Елисееву от 15 декабря 1882 г.), предложил Д. Н. Мамину высокий гонорар. Как опытный редактор, М. Е. Салтыков-Щедрин уловил уникальность и всероссийский масштаб «Золотухи». Здесь необходимы пояснения.

Урал поставлял, начиная с XVIII в., не только промышленную продукцию, военную технику, но и обеспечивал золотое богатство Российского государства. Благодаря ураль-

скому золоту Россия в 1845 г. вышла на первое место в мире по его добыче, дав 47 % мирового производства. Отмена крепостного права в 1861 г. вызвала снижение казенной добычи; в 1860–70-е гг. добыча золота на Урале составляла 320–330 пудов в год. Оживлению золотодобывающей промышленности способствовал «Устав о золотопромышленности» 1870 г., разрешавший золотой промысел всем подданным и иностранцам без различия сословий (Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 153). Д. Н. Мамин показал, что во второй половине XIX в. на Урале было перепроизводство рабочей силы, отсюда неполная рабочая неделя, система так называемых гулевых дней, поиск работы. Всегда была работа только на приисках, на них отовсюду стекался простой люд. В «Золотухе» на Паньшинский прииск приходят «мастеровые — народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка», затем «жители лесных деревень гористой части, где почва камениста и неродима», затем «раскольники с реки Чусовой и из чердынского уезда», «несколько десятков башкир, два вогула»... Вся пестрая масса приисковых рабочих организована в артели: в одних артелях члены не связаны родственными узами, в других соединилось по две-три малосильных семьи, были также артели из одной семьи. Они трудятся весь световой день с полной отдачей, но владельцы рудников обвиняют их в обмане, воровстве, плохой выработке участка и т.п. Старый старатель поясняет рассказчику: «Возьми хоть какой прииск: Коренной, Желтухинский, Кончик, Любезный — кем дело держится? Старателями. Хозяин что? Хозяин заплатил по пятнадцати копеек с сажени ренты, поставил контору — и все тут, вся ихняя заботушка. А старатель-то всей семьей колотится-колотится, а принес сдавать золото — на, получай рупь восемь гривен за золотник, все твои! А хозяин-то сдает это золото в казну по пяти рубликов, значит, с каждого золотника ему три рубля двадцать в карман».

В «Золотухе» описаны многочисленные махинации золотопромышленников, их продуманные шаги спекулятивного характера, подкуп ревизоров, подтасовка документов и другие противоправные действия. Создается впечатление всеобщего воровства и обмана государства. Стремление к реализму обусловило появление в очерках сцен, насыщенных предельно натуральными деталями. Так, Д. Н. Мамин описывает право старшего бить младшего. В старательских семьях все держится на рукоприкладстве, как и в обществе, фактически утверждает писатель. Есть в «Золотухе» сцена: идет пьяный старатель Никита Заяц с женой и ребенком, поет бесшабашную приисковую песню: «Как сибирский енарал / Станового обучал... / По щекам его лупил / Таки речи говорил...» Его встречает Зайчиха (мать) и начинает бить длинной палкой, он набрасывается на жену, пихает ногой в живот. «Лукерья как-то дико вскрикнула, но Никита уже за волосы тащил ее по земле, нанося страшные удары правой рукой прямо по лицу. Посыпалась мужицкая крупная брань и вопли беззащитной жертвы, но Зайчиха не тронулась с места, чтобы защитить сноху, потому что этим нарушилось бы священнейшее право всех мужей от одного полюса до другого». Д. Н. Мамин совершенно справедливо соотнес обычного мужа и государственного мужа-генерала.

Реалистичность «Золотухи» вызвала негативную (хочется сказать: наивную) оценку брата Владимира, который в то время учился в Московском университете. Д. Н. Мамин в письме от 3 марта 1884 г. писал: «В конце концов вопрос сводится вот к чему: по-твоему, наш брат, автор должен писать такие статьи, которые мог бы читать с удовольствием только человек салона или той буржуазии, которая тянется за салоном. Другими словами, мы должны служить золотому тельцу, дворянству, чиновничеству, псевдоинтеллигенции и т. д. Но этим людям уже служат, и ты можешь найти полное удовлетворение своим салонно-литературным требованиям в произведениях Маркевича, Сальянса, Авсеенко, в “Ниве” и т. д. Там мужика еще нет, а мы останемся со своим мужиком». И еще Д. Н. Мамин писал в том же письме: «Прогресс в том и заключается, что мы видим длинный ряд процессов дифференцирования, и литература переживает то же самое — чистое художество и художество прикладное, ибо довлеет дневи злоба его. Таким образом, громы и молнии твои против “Золоту-

хи" разлетаются сами собой... Посягая на "Золотуху", ты посягаешь на меня и на мое любимое детище. У меня будет ряд таких статей об Урале, и поверь, что мне скажут за них спасибо» (Подробнее см.: *Мамин-Сибиряк, 1958*. Т. 4. С. 555—556).

Стр. 303. *Золотуха* — обоз сибирского золота (В. Даль).

Стр. 321. *«Ты дхнешь — и двигнешь океаны...»* — из стихотворения И. И. Дмитриева «Размышление по случаю грома» (1805).

Стр. 323. *Провесная свинина* — провяленная.

«Он был титулярный советник...» — стихи П. И. Вейнберга (1831—1908).

Стр. 331. *Рамень* — густой смешанный лес.

Стр. 337. *Цхра* — грузинская карточная игра.

Поправка доктора Осокина

Первая публикация: «Русская мысль», 1885, № 12 с подписью «Д. Сибиряк». Сохранившаяся рукопись 2 и 3 глав на 9 несшитых листах с жанровым определением «очерк», без подписи и даты находится в РГАЛИ.

«Поправка доктор Осокина» — городской рассказ, действие происходит в уездном городе Пропадинске, в котором угадывается Екатеринбург. Доктора Осокина в городе все считали умным, признавали хорошим врачом, но и «странным» человеком: спал только на свежем сене, пил одну отварную воду, питался исключительно морковными пирогами, он не признавал галстуков, зимой ходил в летней фуражке, а летом в папахе. По молодости ухаживал за женщинами, участвовал в любительских спектаклях, однажды он даже влюбился в местную примадонну и первую красавицу Поленьку Эдемову, но получил отказ и постепенно замкнулся, ушел в себя и его посетили философские мысли. Примерно двадцать лет доктор Осокин писал научную работу, в которой «строго математическим путем» доказывал «неуничтожаемость силы и материи» и пришел к выводу, что есть целый ряд явлений, в которых «жизнь затаилась, приняла омертвелые виды» и недостает «какой-нибудь случайности», чтобы «развернулась роскошная форма нового существования». Иными словами, есть «жизнь в возможности» и если очень захотеть ее возродить, если представить в воображении желаемое, то оно будет реальным. И старый одинокий холостяк доктор Осокин однажды вообразил, что у него есть семья, жена Поленька Эдемова, бывшая примадонна городского театра, сейчас ей под шестьдесят; и еще он вообразил, что у него есть «дочь в возможности». Старухе-акушерке Матрене Ивановне он говорит: «Я вижу ее, да, ее, мою дочь, она приходит сюда, разговаривает со мной... Это высшее счастье, какое доступно человеку, именно жить повторенною жизнью, быть молодым во второй раз и чувствовать, что вот именно ты не умрешь, а будешь жить, только в новой, лучшей форме».

Было высказано мнение, что рассказ «Поправка доктора Осокина» «направлен против философии Шопенгауэра, получившей распространение в России 1880-х годов»; Д. Н. Мамин делал выписки из книги этого философа «Мир как воля и представление» (русский перевод 1881 г.) и, в частности, отметил следующие мысли: «Мир как целое, как космос есть представления», а «по внутренней стороне, по сущности он есть лишь воля» (*Мамин-Сибиряк, 1983* . Т. 2. С. 443). Думается, что Д. Н. Мамин не полемизировал с Шопенгауэром, а просто использовал его наблюдения, чтобы художественно воссоздать трагедию одинокого старика.

Д. Н. Мамину нравился рассказ «Поправка доктора Осокина», в письме от 22 ноября 1885 г. к сестре Елизавете он назвал его «отличным».

Стр. 376. *Времен Александра благословенного* — Александра (1777—1825).

Стр. 373. *Халда* — грубый человек, наглец, нахал, крикун (особенно в отношении к женщине).

Стр. 380. *Копчушка* — мелкая копченая рыба.

Стр. 381. *Весталка* — здесь: девушка строгой нравственности, обреченная на безбрачие.

Стр. 382. *Бланжевая роза* — роза телесного цвета.

Стр. 383. *Жантильная барыня* — жеманная, кокетливая.

Стр. 392. *Бурнус* — здесь: женская накидка.

Стр. 393. *«Белая дама»* — опера композитора Буальдье (1775 — 1834), капельмейстера оперной труппы в Петербурге

Первые студенты

Первая публикация: «Северный вестник», 1887, № 1 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись рассказа хранится в ГАСО: на 30 л., без даты, с подписью «Д. Сибиряк».

Автобиографичность рассказа «Первые студенты», в первой его части, станет очевидной, если обратиться к воспоминаниям Д. Н. Мамина «Из далекого прошлого», в которых он писал: «Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой провинции громадным наплывом новой популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени... Мне было лет пятнадцать, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или, по-заводски, доверенным, поступил туда бывший студент Казанского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент Александр Алексеевич, который, главным образом, и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдера, и Молешот, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрылся совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки... Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе». Все эти юношеские впечатления вошли в рассказ «Первые студенты».

Какое-то время Д. Н. Мамин увлекался в молодости естественными науками, пытался найти в них ответы на коренные вопросы, но... «Я слишком дорого заплатил за скромное желание сделаться непременно мыслящим реалистом», — писал он брату Владимиру в 1882 г. В «Первых студентах» ощутимо стремление Д. Н. Мамина писать с душевной теплотой о шестидесятниках, однако развитие событий в рассказе в плане реализации идеи равенства, контакты того же Рубцова с молодыми рабочими, его женитьба на Соломониде свидетельствуют о том, что писатель отчетливо видит неподкрепленность идеи равенства людей «равенством экономических и вытекающих из них культурных, бытовых условий» (*Дергачев И. А.* Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Свердловск, 1977. С. 153).

Стр. 402. *Паужнают* — перекусывают между обедом и ужином.

Кержак — раскольник.

В плисовых шароварах — в широких брюках из плиса, или бумажного бархата.

Стр. 404. *Животом скудается* — хворает, болеет, недомогает.

Уподобиться шкаличку — т. е. кабачной мере вина, т. н. осьмушке, или косушке.

Стр. 406. *«Мы петь будем и гулять будем, / А и смерть придет — помирать будем»*, *«Где с Казанкой-рекой...»* — популярные песни студенчества шестидесятых годов.

Стр. 408. *«Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus...»* — начало известного студенческого гимна.

«По чувствам братья мы с тобой» — первая строка стихотворения А. Н. Плещеева (1846), посвященного В. Милютину. Приводим первую строфу полностью, чтобы оценить ее революционный пафос: «По чувствам братья мы с тобой, / Мы в искупленье верим оба, / И будем мы питать до гроба / Вражду к бичам страны родной». Длительное время стихотворение приписывалось К. Ф. Рылееву как послание к А. А. Бестужеву.

Стр. 409. *«В хижину бедную, Богом хранимую, / Скороль ль опять возвращусь...»* — оригинальная песня Н. А. Некрасова, включенная в текст мелодрамы «Материнское благословение, или Бедность и честь» (1842). Была популярна до конца XIX века и вошла во многие песенники.

Иловайский Дм. Ив. (1832—1920) — историк и публицист, автор пяти томов «Истории России».

Стр. 414. *Штегерь* — мастер рудных работ.

Перепаратил вчера малость — т. е. переборщил с выпивкой.

Стр. 415. *Вашгерд* — рудопромывный или золотомойный станок.

Стр. 417. *«У меня глубоко в сердце...»* — строки из поэмы Г. Гейне «Атат Тролль» в переводе Н. В. Шелгунова.

Стр. 418. *«Что ни время, то и птицы...»* — слова из финала поэмы Г. Гейне «Атта Тролль».

Стр. 420. *Кануны говорит по покойникам* — читает молитвы в память усопшего.

Читают Бову — т. е. народную сказку о Бове-Королевиче.

Стр. 421. *Некошной* — нечистый, леший, черт.

Стр. 429. *«Вместе ели, но с условьем...»* — из стихотворения Г. Гейне «Два рыцаря».

Стр. 431. *Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно* — слегка измененный вариант концовки стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840).

Из уральской старины

Первая публикация: «Русская мысль», 1885, № 6 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в ГАСО, название «Узелки». Из рассказов об уральской старине; на 1-м листе надпись: «13 марта, 85 г. Екатеринбург»; в конце рукописи: «15 апреля, 85 г. Екатеринбург». В надзаголовке надпись-автограф: Напечатано под заглавием «Из Уральской старины» в третьем томе «Уральских рассказов», изданных фирмой «Издатель»; подпись «Д. Сибиряк».

Это произведение иногда называют повестью, но сам Д. Н. Мамин считал его рассказом, действие которого относится «к жизни Зауралья лет пятьдесят назад», т.е. события происходят в тридцатые годы XIX в., во времена крепостного права. Очевидно, писатель многое слышал о вольностях прошлых хозяев жизни и решил посвятить этому рассказ. В центре мелодраматического повествования заводчик-самодур Ефграф Китаев с его гаремом из двенадцати крепостных девушек, его наложница немка Матильда, доезжачий Федор Ременников, пылающий страстью к поповне, старая девица Анфиса, постоянно влюбляющаяся в молодых мужчин... Почти все персонажи сексуально озабочены, некоторые ищут радость в вине, все, без исключения, готовы к тайному или явному действию, наносящему вред ближнему. Д. Н. Мамин ведет повествование, опираясь на предания, песни, местный этнографический материал. Явно фольклорного характера сюжет: барин держит гарем из крепостных девушек, по очереди ублажающих его. При этом писатель вводит многочисленные реалии: как попадают в гарем четырнадцати-пятнадцатилетние девочки, как их обучают «манерам», пению и танцам, каким образом наказывают за непослушание и т.п. Или при описании свадьбы Китаева с поповной Мариной отмечено, что она продолжалась целую неделю (меньше — неприлично), в доме вся посуда была «перебита в лоск», «переломана вся мебель» (на счастье!) и

«пьяные гости изорвали в клочья все платья друг на друге» (на счастье — была такая норма ритуального поведения гостей на свадьбе). Или Ременников представляет, как он убьет Марину, отвергнувшую его, заодно убьет барина, как его схватят, приведут на эшафот и палач в красной рубахе будет бить длинной ременной плетью, а потом его пошлют на каторгу, с которой он сбежит и «будет бродяжить здесь же на заводах» — персонаж как будто рассказывает обычное предание о местном разбойнике. История отношений Марины, Федора и Матильды изложена в духе жестокого народного романса с обязательным убийством в финале: в саду валялся обезображенный труп Матильды, несчастная девушка была засечена нагайкой и «представляла безобразный кусок страшно избитого мяса, так что на спине сквозь клочья одежды белели кости».

И. А. Дергачев справедливо писал, что в рассказе «Из уральской старины» в оценке явлений и характеров крепостничества «господствует тон иронии, который возможен лишь при осознании ничтожности и обреченности явления, хотя сами по себе факты, сообщенные автором, ужасны и убийственно свидетельствуют против отжившего строя» (*И. А. Дергачев.* Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Свердловск, 1977. С. 149).

Стр. 438. *Гитарный гриф* — шейка с ладами на гитаре.

Стр. 439. *Колки* — на верхнем конце грифа крепятся «колки» для крепления и натяжения струн.

Стр. 446. *Бобровая струя* — ароматическое вещество животного происхождения.

Стр. 450. *Домна* — большая чугуноплавильная печь.

Рытый бархат — разрезной и пушистый, с вытесненным узором.

Вахмистр — старший унтер-офицер в коннице.

Стр. 452. *Коренник* — коренная лошадь, запрягаемая в оглобли.

Долгушка — повозка на длинном ходу, тарантас.

С. 456. *Дуэнья* — здесь: воспитательница, всюду сопровождающая и следящая за поведением своей воспитанницы.

С. 460. *Играть в «фильки»* — род карточной игры.

Хлапь — карта валет.

Прясло — звено изгороди.

Запрещенный поп — лишенный прав священства.

Стр. 461. *Угобжать* — одаривать, обогащать, щедро наделять.

К чомору — посылать к черту.

Стр. 463. *Давно Ключики записаны в консистории* — за дочерью священника закреплялось место отца, женившийся на ней выпускник семинарии получал это место.

Стр. 466. *«Строшные» работники* — работающие по найму, как правило, на срок от весны до Покрова.

Корда — веревка, на которой гоняют лошадь вокруг столба.

Караковый жеребец — темно-гнедой, почти вороной конь.

Стр. 466. *Палевые голуби* — бело-желтоватые.

Стр. 468. *Зубить отцу* — зубатить: спорить, перечить, грубить, огрызаться (сиб.).

Стр. 474. *Вершник* — верховой, конник, ездок.

Соловая кобыла — желтоватая, со светлым хвостом и гривой.

Стр. 483. *Киргизкий азям* — долгополый кафтан.

Родительская кровь

Первая публикация: «Вестник Европы», 1885, № 5 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись рассказа хранится в ГАСО: выполнена рукой самого автора, в конце подпись

«Д. Сибиряк» и дата «12 декабря 84 г. Екатеринбург», означающая, очевидно, день окончания работы над рассказом.

Д. Н. Мамин поднимает несколько актуальных вопросов: техническая отсталость уральской промышленности из-за отсутствия подлинной конкуренции (избыток рабочей силы) и наличия крепостнических пережитков, вторжение иностранного капитала с его особыми формами закабаления, фактическое ограбление заводского поселения после реформы 1861 г. через так называемые уставные грамоты... Относительно последних Евстрат Важенин говорит: «Обижают землей народ по заводам; всем крестьянам наделы даны, а только одних мастеровых не могут наделить. Двадцать лет как уставные грамоты подписали, а надела все нет — это уж не порядок: ни пашни, ни лесу, ни покосу — все от завода, ежели робишь на фабрике. За каждую жердь поленную взыскивают, пашни отбирают». Отец Евстрата Важенина тоже был правдоискателем и, хотя попадал под плети, в острог, все равно оставался убежденным защитником народных прав. «Обчество» выбрало Евстрата Важенина своим «ходоком», и он энергично начал дело о неправильном завладении Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревне Боровки.

Д. Н. Мамин не случайно дал Важенину имя Евстратий (в переводе с греческого «хороший воин»). В. Г. Короленко писал И. Г. Остроумову о рассказе «Родительская кровь»: «У Мамина-Сибиряка бывают растянутости, длинноты, но никогда не бывает благодушных глупостей, и если он нарисует картину, как “родительская кровь” побуждает сына отдать себя на служение “миру” — то к этой картине относишься, как к отрадному факту, а не как к благодушному измышлению» («Огонек», 1958, № 7, с. 24).

Стр. 494. *Ладу́нка* — патронташ, охотничья сумка для зарядов.

Стр. 495. *Пойнтер* — собачья масть

Стр. 498. *Кричная* — относящаяся к крице, т. е. вываренному из чугуна железу.

Стр. 498. *Увалы* — склоны гор, уступы.

Стр. 498. *Базлать* — кричать, горланить.

Стр. 498. *Крыльце* (ударение на первом слоге) — заплечье, плечные лопатки.

Стр. 503. *Цалковые* — серебряные рубли.

Стр. 503. *Цетерок* — от сеттер, порода собак.

Стр. 504. *Залобуть* — убить.

Стр. 505. *Скластся* — складываться с товарищами (часто на выпивку).

Стр. 508. *Мерлушчатая шапка* — из шкурки ягненка.

Стр. 508. *Анисимовские издания* — сборники законов, юридические справочники, изданные в XIX в. петербургским нотариусом А. Н. Анисимовым.

Стр. 509. *Сшибаи* — барышники и перекупщики.

Стр. 509. *Шишляться* — возиться, копошиться, медлить с каким-либо делом.

Стр. 510. *Посессионное право* — право пользоваться лесами, земельными недрами на время действия конкретного завода или заводов; при этом земля оставалась собственностью государства.

Стр. 511. *Олеография* — вид полиграфического воспроизведения картин, исполненных масляными красками.

Стр. 513. *Набоб* — искаженное от «наваб», нарицательное название быстро разбогатевшего человека, выскочки.

Стр. 519. *Принять в стяги* — здесь: стяг — кол, жердина, дубинка.

Стр. 519. *Кошевка* — розвальни, дорожные сани.

Стр. 525. *Престарелый Иаков библейским сыновьям* — племена потомков 12-ти сыновей Иакова образовали израильский народ; судьба их пророчески предсказана в предсмертном благословении Иакова сыновьям.

Лес

Психологический этюд

Первая публикация под названием «Фомич» в журнале «Дело», 1887, № 1 с подписью «Д. Сибиряк». Рукопись рассказа хранится в ГАСО: заголовок «Лес» написан сверху над зачеркнутым «В лесу»; на 1 л. надпись рукой писателя: «Дмитрий Наркисович Мамин. Москва, Тверской б., д. Ланской»; в конце рукописи «10 декабря 1886 г. Екатеринбург»; на 18 л., подпись «Д. Сибиряк». В РГАЛИ хранится черновик варианта начала рассказа «Лес» под названием «В лесу», без даты; там же хранится неоконченный черновик под названием «На Мочге», на 1 л.: «Дмитрий Наркисович Мамин. Москва. Тверской бульвар, д. Ланской», без даты.

В рассказе «Лес» перед нами редкий случай, когда Д. Н. Мамин описывает уральский лес как часть жизненного пространства человека. Лес занимает окрестности Журавлевского завода: в одну сторону до ближайшего жилья сорок верст, в другую сторону больше ста верст тянулись горы и лес. Атрибутивную особенность этой территории определял Размет: так называлась и сама гора и прилегавшие к ней другие горы, горки, косогоры и увалы. «Получался горный узел, которого гора Размет являлась связующим центром и горным водоразделом: в сторону завода сбегались речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского». Иными словами, здесь пролегала граница между двумя континентами, между Европой и Азией. Как правило, такие места обладают повышенной энергией, но Д. Н. Мамин пока об этом не пишет.

Персонажи контактируют с лесом по-разному. Дьячок Фомич еще и охотник, потому что на три рубля жалования ему с семьей не прожить. Он лесует: бьет птицу и зверя из одного ружья, и, хотя оно у него допотопное, служит больше тридцати лет, он к нему относится, как к живому, и больше всего боится, как бы к его сокровищу не прикоснулась какая-нибудь женщина. Обладая «сильным природным умом», Фомич ко всему живому, всякой мелкой твари относится расчетливо, бережно, по-хозяйски, и охота приносит ему только радость, потому что именно в лесу он чувствует «великую жизнь природы».

У рассказчика более скромный опыт охотника, но он уже способен уловить благотворное влияние леса, его способность настроить человека на «хорошее и доброе чувство»: «Именно здесь, в лесу вы чувствуете, что в вас затихает и боль, и невзгоды, и заботы, сменяясь свежим и светлым чувством жизни».

Но среди охотников случайно оказалась заводская дурочка Параша Кудрявая. Еще в крепостное время она отказалась стать любовницей заводчика, попала под плети и стала неадекватной: ходит по улицам, поет неприличные песни, украшает себя цветными лоскутками, принародно заголяется... Появление Параши в лесу Фомич объясняет тем, что она «чувствует пользу» от леса. “Как-то вечерком сидим у огня, гляжу она плачет. Закрылась руками и плачет. “О чем, говорю, ревешь?” — “А так, говорит, стыдно мне”. Это она, значит, про то, что “Косарей” распевает да подол поднимает на голову, когда ее ребятишки женихами дразнят. Вот он какой, лес-то...» Видимо, для нее лес — это пространство с какими-то особенными свойствами, где осуществляется душевное очищение и высшая справедливость.

Стр. 529. *От чусовских вогул* — от манси, проживающих в селениях на Чусовой.

Стр. 530. *Казинетовый подрясник* — из полушерстяной ткани.

Стр. 536. *Сакма* — тропа в густой траве.

Стр. 537. *Лабазник пить* — кустарник, иванов-цвет.

Стр. 540. *«Пой, скачи, кружись, Параша!»* — начало стихотворения И. И. Дмитриева (1795).

Стр. 541. *Еланка* — возвышенная, голая и открытая равнина, свободная от леса.

Стр. 542. *Хайлать* — орать во все горло.

Озорник

Первая публикация: «Русская мысль», 1896, № 12 с подписью «Д. Мамин-Сибиряк». Рукопись рассказа отсутствует, очевидно, утеряна.

Рассказ получил положительную оценку рецензента «Русской мысли» (1900, № 9): «Тип непутевого забулдыги Спирьки, бывшего когда-то заправским мужиком, но со смертью жены потерявшего все свое крестьянское хозяйство и попавшего таким образом в деревенские лишние люди, выхвачен из самого сердца нашей крестьянской жизни. Читатель и смеется над несуразным, нескладным Спирькой, и удивляется его удали и смекалке, и зараз же жалеет эту погибающую натуру, в которой под нескладною наружностью бьется горячее сердце, жаждущее и любви и участия» (*Мамин-Сибиряк, 1958*. Т. 4. С. 559—560). Это рассказ о трагической крестьянской любви.

У Спиридона умерла жена, детей нет, стал жить один, запустил свое хозяйство. Внешность у него самая обычная, но в нем есть крепость, физическая сила. «Небольшого роста, плечистый и жилистый», он был «в самой поре». «Обличье у него было даже не российское, а с явными признаками сибирской помеси: борода была маловата, скулы приподняты, лицо как будто сплюснутое. И ходил он не по-российски на своих выгнутых ногах, как настоящий кавалерист». Он человек дела, поступка, таких мужиков в народе зовут рукастыми: помог рязанцам обосноваться недалеко от своей деревни, вернул переселенцам трех украденных ворами лошадей и тем самым спас семью их от разорения, он никого не боится, может постоять за себя. Но последние пять лет он влюблен в Дуню, у которой муж и сын: он ее хочет видеть, говорить с ней, но не может понять своего состояния влюбленности и думает, будто Дуня — ведьма, «видит всех насквозь» и «сделала ему присушку», «испортила его». И тем не менее именно ради любимой женщины, благополучия ее семьи он отправился за конокрадами, вступил с ними в драку, получил смертельные раны и вернул лошадей. Спиридон умирает, трагический финал порождает мысль о самобытности, самодостаточности подобных мужчин, составляющих соль нации.

Стр. 551. *Челдон* — см. ком. к стр. 138.

Стр. 552. *Орясина* — жердь, толстая и долгая хворостина.

Стр. 557. *Сыромятный чересседельник* — это ремень упряжки, который используется для протягивания от одной оглобли к другой через седелку.

Стр. 559. *Галманы* — грубые неотесанные мужики, невежи.

Стр. 562. *Чумбур* — повод уздечки.

Стр. 564. *Вотчинник* — коренной владелец земельных угодий.

Стр. 564. *Припущенник* — переселенец из других мест, получающий, как правило, половинный земельный надел.

Стр. 572. *Бастрыг* — палка, шест.

Переводчица на приисках

Первая публикация: «Вестник Европы», 1883, № 4 с подзаголовком «Рассказ из жизни на Урале» и подписью «Д. М-ин». В ГАСО хранится автограф под названием «Толстушка. Из рассказов о золоте» с подписью «Д. Сибиряк», без даты; на л. 1 сверху надпись «Переводчица на приисках» неизвестной рукой. Д. Н. Мамин включил «Переводчицу на приисках» в сборник «Уральские рассказы» только при третьем их издании, при этом переработал журнальный вариант, сократив ряд эпизодов. В письме к Д. П. Ефимову от 25 апреля 1901 г. Д. Н. Мамин просил изменить название: вместо «Переводчица на приисках» — «На прииске», но рассказ был опубликован с прежним названием.

В рассказе как бы две истории. Первая: ровесники Щипицын и Хомутов росли вместе, одновременно женились, одновременно занялись торговлей. Однажды подошла Ирбитская ярмарка, у Хомутова не было денег и он попросил Шипицына «поручиться за него тысяч на десять», но через полгода обанкротился. Затем Щипицына «за поруку потянули» и все его состояние пошло с молотка. А Хомутов занялся вольным золотым промыслом, открыл свой прииск и через год расплатился со всеми своими долгами, но Шипицыну платить отказался, хотя «многим помогал», «на нищую братию тысячами жертвовал». Почему? Хомутов говорит Ираиде Филатьевне, будто ему запретила давать деньги мать: «Если ты хоть грош дашь Шипицыну, нет тебе моего родительского благословения во веки веков. Прокляну... А без моего благословения погибнешь, аки червь!» Видимо, Шипицын что-то сказал или что-то сделал такое, что старуха оскорбилась... В общем перед читателем тайна, покрытая мраком, и ощутима авторская ирония. Бедному Шипицыну нигде не везет: его бывшие приказчики Соболев и Колченогов успешно ведут собственную торговлю («пошли в гору»), у него нет сына, зато одиннадцать дочерей, причем последняя, пятнадцатилетняя Настенька добровольно пошла в содержанки к Хомутову. В этом рассказе Д. Н. Мамин ведет повествование с установкой на достоверность с одновременным легким осмеянием ее. Вторая история, связанная с переводчицей, подана в такой же повествовательно-стилевой манере.

В конце пятидесятых годов Ираида жила вместе с братьями и старшими сестрами в Казани, здесь она оказалась в молодежной среде, где «велись самые оппозиционные разговоры», которые она в свои 13 лет мало понимала, зато ей нравились стриженные девушки в синих очках — они участвовали во всех спорах и всегда были «окружены толпою молодежи». Повзрослев, она увлеклась идеями шестидесятников, но со временем увидела, что «недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности», что казанское общество «преследовало то, чему недавно само же поклонялось». Но Ираида все-таки надеялась «на осуществление своих идеалов» и решила ехать в Петербург, чтобы найти там «работу» и «встретить настоящих хороших людей». В Петербурге она примерно десять лет трудилась, «переходя от одной профессии к другой»: освоила три иностранных языка, «жила переводами», была корректором, ретушером, служила в книжном магазине... И все эти годы она оставалась слепо верующей «в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев», хотя «на ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим». Но Ираида «ничего не хотела знать и, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала шестидесятых годов», она даже не допускала мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно «полиняли, выветрились и износились». Однако «семидесятые годы заставили ее оглянуться назад», сравнить шумное прошлое с натоящим и понять, что в Петербурге она «лишняя», потому что появились неприемлемые новые герои, а «движение шестидесятых годов» отошло в прошлое. Она приехала на Урал, стала работать переводчицей при трех иностранных специалистах на Коковинском прииске. Ей было слегка за сорок, и «вечная жажда любви» привязала ее к пятнадцатилетней Настеньке, успевшей побыть содержанкой пожилого золотопромышленника Хомутова. Ираида Филатьевна составила план «развития» этой поселковой девушки, не знавшей даже таблицы умножения, и с «лихорадочным жаром» принялась ее обучать. Она была уверена, что «из Настеньки выработается идеальная женщина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью, которая для самой Ираиды Филатьевны осталась недосягаемым идеалом». Но стоило ей буквально на неделю отлучиться с прииска, как Настенька вышла замуж за гражданского мужа своей наставницы и предложила ей «поискать другого места». Все планы шестидясятницы рухнули, и она наложила на себя руки. Надо отдать должное Д. Н. Мамину — мелодраматическая история жизни Ираиды Филатьевны воссоздана им в весьма ощутимой комической тональности: где-то чувствуется шутливость, чаще — ироничность, но не резкая, не категоричная, а скорее сродни гру-

стной усмешке человека, который знаком с идеями шестидесятников, но давно сомневается в необходимости их претворения.

Стр. 576. *Как праведный Иов* — благочестивый страдалец, история которого излагается в учительной книге Ветхого Завета, носящей его имя; пример безропотного подчинения судьбе.

Стр. 576. *Канаусовая рубашка* — рубашка из шелка.

Стр. 590. *Заводная лошадь* — запасная верховая лошадь.

Стр. 590. *Муки Тантала* — персонаж греческой мифологии, был наказан богами вечными мучениями: стоя по горло в воде, он не может напиться, так как вода тотчас отступает от губ; с окружающих его деревьев свисают отягощенные плодами ветви, которые вздымаются вверх, как только Тантал протягивает к ним руку.

Стр. 600. *Еловый подсед* — подсадок, молодая поросль в лесу.

Стр. 601. *Летняя пара из чечунчи* — т. е. из шелковой ткани особого сорта, желтовато-песочного цвета.

Стр. 607. *«Растворяться в настоящем», выражаясь языком Шопенгауэра* — цитата из книги Шопенгауэра «Афоризмы и максимы» (СПб., 1881. С. 168).

Стр. 608. *Настоящая Маргарита* — героиня трагедии И. В. Гете «Фауст».

Стр. 611. *Козонок* — приспособление для игры в бабки.

Стр. *611. Лестовка* — кожаные четки раскольников.

Доброе старое время

Первая публикация: «Русская мысль», 1889, № 2 с подписью «Д. Сибиряк». Автограф из 37 пронумерованных листов, сшитых в тетрадь, с подписью «Д. Сибиряк» и пометой на 1 л. «1888 г., октябрь, Екатеринбург» хранится в ГАСО.

При создании повести Д. Н. Мамин использовал городские предания о людях и событиях Екатеринбурга второй половины XIX в. В частности, о театральной жизни он слышал рассказы Е. А. Ивановой, бывшей примадонны городского театра, о чем прямо говорит в очерке «Город Екатеринбург» (1888). На связь повести с местным фольклором указывает также запись, на которую обратил внимание И. А. Дергачев: в записной книжке № 3 из собрания Б. Д. Удинцева (РГАЛИ) после заглавия написано: «Из рассказов старой актрисы. История Демидова-ревдинского. Приезд на Урал, ссора с Глинкой, отъезд» (*Мамин-Сибиряк, 1983*. Т. 2. С. 446). Фольклорные рассказы использованы Д. Н. Маминым при описании главного начальника Уральских горных заводов В. А. Глинки (1790—1862); в Додонове угадывается полковник А. П. Демидов; прототипом Крапивина явился П. А. Соколов, организовавший первую екатеринбургскую труппу. «Труппа Соколова состояла из 16 артистов и небольшого оркестра. Большинство труппы составляли бывшие актеры крепостных помещичьих театров и среди них 6 актрис, бывших крепостных матери писателя И. С. Тургенева, сперва арендованные, затем выкупленные Соколовым на волю» (*Анфиногенов А.* Театры и зрелища в старое время // Свердловск /Под ред. А. Панфилова, К. Рождественской. Свердловск, 1946. С. 80). В повести говорится о строительстве театрального здания, оно действительно было построено в 1845 г., деньги собрали богатые горожане по подписке, проект сделал архитектор Горного правления Турской; в советское время здание функционировало как кинотеатр «Октябрь».

Стр. 626. *Шинель с крагеном* — т. е. накидным на голову воротником.

Стр. 627. *Люстриновое платье* — из шерстяной ткани с лоском.

Стр. 627. *Просвира* — то же, что просфора, просвира — богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время проскомидии живых и мертвых.

Стр. 629. *Курпей* — ягнячья овчина.

Кушак — пояс на верхней одежде.

Стр. 629. *Борзятники, выжлятники и доезжачие* — ловчие при борзых, псари и заведующие псарней.

Стр. 637. *«Семирамида»* — опера Д. А. Россини (1792—1868).

«Тоска по родине» — опера-водевиль Д. Т. Ленского (1805—1860) «Дезертир, или тоска по отчизне».

«Дмитрий Донской» — трагедия В. А. Озерова (1769—1816).

«Она помешана» — водевиль В. А. Каратычина (1802—1853).

«Виктор, или дитя в лесу» — драма, переведенная с французского Д. Н. Марковым.

«Урок дочкам» — комедия И. А. Крылова (1768—1879).

«Три султанши» — комедия Ф. Ш. Симона (1710—1792).

«Архивариус» — водевиль П. С. Федорова (1803—1879).

«Лорнет» — водевиль Скриба (1791—1861).

«Русская свадьба в исходе XVI в.» — комедия П. П. Сухонина (1821—1884)

Стр. 645. *Бешмет* — простой суконный кафтан.

Стр. 646. *Бонбоньерка* — коробочка для сладостей.

Стр. 654. *Гарун-аль-Рашид* — Правитель Багдада из арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Имя нарицательное для сказочно богатого человека, который щедрой рукой раздает богатства, помогает людям и т. д. (шутл.-ирон.).

Стр. 662. *Милитриса Кирбитьевна* — персонаж старинной русской народной сказки о Бове-королевиче — капризная, злая и коварная королевна.

Верный раб

Первая публикация: «Северный вестник», 1891, № 7 и 8 с подписью «Д. Сибиряк» и датой «1891, 9 мая, Петербург». Рукопись повести не сохранилась.

Д. Н. Мамин описывает г. Загорье, но в нем легко узнаются люди и события Екатеринбурга середины XIX в. И. А. Дергачев обратил внимание на то, что в записной книжке № 3 из собрания Б. Д. Удинцева (РГАЛИ) вслед за заглавием «Верный раб» написано: «История жены ген. Глинки» (*Мамин-Сибиряк, 1983* . Т. 2. С. 446). История, лежащая в основе повести, произошла с главным начальником горных заводов генералом В. А. Глинкой и была в 1881 г. рассказана Д. Н. Мамину уральским историком и краеведом Н. К. Чупиным — об этом пишет в своих воспоминаниях В. А. Ляпустин. По рассказу В. А. Ляпустина, В. А. Глинка (в повести он носит фамилию Голубко), как главный горный начальник, в своем лице сосредоточил всю власть в губернии — как административную, так и судебную. Он ездил по заводам с сотней вооруженных казаков, и где бы он ни показывался, там свистели плети и нагайки. Об этом рассказывали по всем заводам Урала, некоторые предания вошли также в очерк Д. Н. Мамина «Город Екатеринбург». В местном фольклоре генерал предстает жестоким, даже свирепым, но и неподкупным. Он не брал взяток, чем воспользовался его слуга Мишка. Конфликт Мишки с генеральшей, ее разоблачение, петербургские сцены в конце повести описаны в мемуарах В. А. Ляпустина с явной оглядкой на текст повести «Верный раб». Вряд ли мемуарист, написавший свои воспоминания в 1936 г., мог запомнить многие реалии из рассказа Н. К. Чупина, слышанного в 1881 г., т.е. пятьдесят пять лет назад. Е. А. Боголюбов писал, что В. А. Ляпустин «невольно» перенес в свои воспоминания многие ситуации из повести «Верный раб», но факт получения Д. Н. Маминым информации именно от Н. К. Чупина ему «кажется вполне достоверным», как не вызывает сомнения дата встречи писателя и краеведа — 1881 год (*Мамин-Сибиряк, 1948–1951*. Т. 10. С. 422). Таким образом Д. Н. Мамин только после переезда в Петербург воспользовался давно известной ему фольклорной ис-

торией и написал повесть. Дата под публикацией в журнале «1891, 9 мая» могла означать завершение работы над повестью или время поступления ее в редакцию.

Стр. 680. *Кержак немаканый* — т. е. некрещеный.

Стр. 690. *Скимен* — лев.

Стр. 691. *Очестливость* — вежливость, почтительность, учтивость.

Стр. 694. *Кондрашные* — нанятые по контракту на определенный срок.

Сторона немшоная — о Сибири, в которой избы срубались без покрытия (прошивки) мхом.

Кандрашные рабочие — образовано от «кадровые» рабочие в результате народной этимологии, сближения с «кандрашкой» (название болезни, инсульт).

Стр. 699. *Ферлакур* — ухажер.

Стр. 705. *Вязниковский товар* — товар из гор. Вязники Владимирской губернии, где были развиты кустарные промыслы и хлопчатобумажная промышленность.

Стр. 706. *Литки* — то же, что и могарыч при покупке, особенно при оборотах лошадьми.

Стр. 711. *Салотопенная заимка* — хутор, в котором производится топка сала из битых животных.

Стр. 731. *Фендрик* — фатоватый молодой человек.

Вольный человек Яшка

Первая публикация: «Русские ведомости», 1893, № 232. Автограф отсутствует, видимо, утерян (см.: *Удинцев Б. Д.* Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рукописи и переписка. М., 1949. С. 179—181).

Про главного героя рассказа обычно пишут, что он — «бесприютный скиталец», «забубенный пьяница», «бродяга-отщепенец», но таким его считают только бурлаки, с которыми он работает на барке и которых он тоже называет «пустым народом», «подлецами», «галмачами», т. е. олухами, невежами. Отталкиваясь от неприглядного внешнего вида Якова, от его склонности к шутке, бурлаки просто не понимают его образ жизни, не осознают его своеобычности. Заглавием рассказа Д. Н. Мамин подчеркнул, что Яков — «вольный человек»: его «с двадцати лет» кормит охота, именно она дает ему необходимую свободу и независимость. Он — «охотник-промышленник», ходил на медведя, «спелую белку», глухарей, рябчиков... Однажды Яков «пошел по первому снегу за оленями, выследил одного, подкрался — трах!.. казенник и вырвало» — он остался с пришедшим в негодность ружьем; и хотя «денег на поправку справил видимо-невидимо, толку не вышло», поэтому оказался на осеннем сплаве, чтобы заработать деньги на новое ружье или, как он говорит, на «новенькую орудию».

Без ружья, без охоты Яков не мыслит жизни, для него охота — это работа, труд, причем любимый, дающий не только кусок хлеба, но и душевный комфорт. Д. Н. Мамин показал типичного уральца конца XIX в. В это время на Урале было перепроизводство рабочей силы, и в каждом заводском поселке только часть жителей была занята на производстве, остальные подыскивали себе работу вне завода. П. П. Бажов в очерке «У старого рудника» пишет, что в 1890-е годы в Сысерти на заводе работал один из десяти жителей, в Полевском — один из двадцати, остальные трудились на рудниках, приисках, были возчиками, углежогами или приобретали «ремесло» — становились камнерезами, столярами, жестянщиками, портными, или занимались охотой. В Сысерти и Полевском было несколько «охотников-промысловиков»: промышляли главным образом «зверя» (лося) и диких коз; за зиму опытный охотник забивал до 15 лосей, что превышало годовой заработок квалифицированного заводского рабочего (*Бажов П. П.* Соч.: В 3 т. М., 1976. Т. 2. С. 289—290, 294). В «Уральских былях» П. П. Бажов отмечал, что поселковые жители охотников уважали, считали «счастливчиками», потому что им не приходилось «ломать шапки» перед заводским начальством

(Там же. Т. 3. С. 38). Герой рассказа Яков — из числа именно таких поселковых охотников. Оказавшись без ружья, он начал пить и пропил даже одежду, но все-таки остановился и твердо решил заработать необходимые деньги. В нем чувствуется характер, он не хочет подстраиваться под бурлаков и ведет себя так, как считает нужным, и в нем сохранилась любовь-жалость ко всему живому, сохранилось стремление защитить слабого, будь то даже перелетная птица.

Рецензент журнала «Образование» (1895, № 6) писал о рассказе «Вольный человек Яшка»: «...симпатично изображено любовное отношение Якова к обессилевшей перелетной птице, которую он старается защитить от избиения бурлаками... Рассказом вызывает автор сочувствие к тяжелой жизни бурлаков».

В рецензии журнала «Русская школа» (1895, № 12) отмечалось, что рассказ «сердечен и симпатичен, как и сам главный герой рассказа» (*Мамин-Сибиряк, 1953–1955.* Т. 6. С. 741).

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
(Из истории очерка «Бойцы»)

В данный раздел тома включены тексты, имеющие непосредственное отношение к очерку «Бойцы». Занимающий, можно сказать, центральное место в художественной структуре «Уральских рассказов», данный очерк насчитывает длительную творческую историю. Прояснить ее во многом позволяют публикуемые в данном разделе тексты: по рукописи «Легкая Рука» и газетной публикации «Легкая рука», а также очерк «На реке Чусовой». К филиации творческого замысла художника также следует отнести очерки «На Чусовой. Сцена с натуры» и «В камнях. Из путешествия по реке Чусовой», опубликованные в нашем издании: *Мамин-Сибиряк Д. Н.* Полное собр. соч.: В 20 т. Т. 1. Екатеринбург, 2002. С. 441—478.

Легкая Рука

Рукопись на 26 листах, сшитых в тетрадь; хранится в ГАСО (ф. 136, оп.1, ед. хр. 1). Сверху рукой самого Д. Н. Мамина-Сибиряка (автограф) помечено: «Первоначальная редакция “Бойцы”, — писана в 1874—75 г.». Конец 2-й главы I части (на 6-м листе) перечеркнут автором. Заметен след одного вырванного листа, т. к. следующий лист пронумерован уже восьмым, на котором начинается новая, 3-я глава. Перерыва в тексте нет. В конце 5-й главы первой части перечеркнута целая страница, после которой сразу же начинается часть вторая. Данное произведение ранее не публиковалось.

Редколлегия издания приносит благодарность Т. А. Арсеновой за помощь в расшифровке фрагментов рукописи.

На реке Чусовой

Рукопись на 39 страницах, хранится в ГАСО (ф. 136, оп.1, ед. хр. 18). В рукописи зачеркнуты уточняющие заглавие и подзаголовок: «Весенний сплав по р. Чусовой» и «Из очерков об Урале». На 1-й странице вверху авторская датировка: «15 марта 1883 г., Екатеринбург». Текст примечателен в плане подготовительной работы Мамина над очерком «Бойцы». Особенно показательна 5-я главка очерка «На реке Чусовой», в которой овеянный поэзией героического труда образ сплавщика Ильи сравнивается с «настоящим полководцем». Это уже напрямую предвосхищает сцену из «Бойцов» (гл. XI), в которой показан процесс преображения героя-пьяницы Савоськи во всеми уважаемого Савостьяна Максимыча.

Печатается по изданию: На реке Чусовой. Очерки весеннего сплава. 2-е изд. М., 1916.

Легкая рука

Известен еще один текст с названием «Легкая рука», который был опубликован Маминым в газете «Современные известия» за 1881 год (№№ 149, 150) за подписью «Х». В печати ему предпослан подзаголовок «Этюд из жизни среднего Урала». Но он не повторяет рукописной редакции публикуемого в данном томе текста «Легкой Руки». В случае с первоначальной редакцией «Бойцов» следует обратить внимание на то, что в заглавие его вынесено прозвище «Легкая Рука» главного героя — бурлака Исачки. В центре же газетного очерка «Легкая рука» у Мамина история возвышения и разорения коммерсанта Прохора Даниловича Барашкова, в прошлом, правда, также ходившего бурлаком на барках.

Частично используемые в очерке сюжетные мотивы — например, драматический рассказ Барашкова об убившихся барках с хлебом и высоко поэтическое описание бурлацкой песни — перекликаются с очерком «Бойцы».

Содержание

От редакции 5

УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

Том 1

«В худых душах...» *Рассказ* 8
Башка. *Из рассказов о погибших детях* 30
Отрава. *Очерк* 60
Гроза. *Из охотничьих рассказов* 90
На шихане. *Из записной книжки охотника* 113
Лётные. *Из рассказов о жизни сибирских беглых* 132

Том 2

Бойцы. *Очерки весеннего сплава по реке Чусовой* 184
Золотуха. *Очерки приисковой жизни* 303

Том 3

Поправка доктора Осокина 370
Первые студенты. *Рассказ* 401
Из уральской старины. *Рассказ* 438
Родительская кровь. *Очерк* 489
Лес. *Психологический этюд* 528

Том 4

Озорник. *Рассказ* 548
Переводчица на приисках. *Рассказ* 576
Доброе старое время. *Повесть* 624
Верный раб. *Повесть* 675
Вольный человек Яшка 738

Другие редакции

Легкая Рука 748
На реке Чусовой 794
Легкая рука. *Этюд из жизни среднего Урала* 818

Варианты

«В худых душах...» 832
Башка 833
Косточки хрустят... (Отрава) 834
На шихане 835
Лётные 836
Бойцы 839
Золотуха 840
Поправка доктора Осокина 844
Первые студенты 845
Узелки 846
Родительская кровь 846
Лес 847
Толстушка (Переводчица на приисках) 851

«Уральские рассказы» Д. Н. Мамина-Сибиряка
как художественная целостность. *О. В. Зырянов* 854

Список условных сокращений 877
Комментарии 878